

Борис Хазанов

АКВАРИУМ

Хроника пригородных поездов

роман



ImWerdenVerlag
München — Москва
2008

© Борис Хазанов, 1995

© <http://imwerden.de> — некоммерческое электронное издание, 2008

*Denke daran, dass heute
morgen gestern ist.
Peter Weiss*

*Помни, что сегодняшний день
завтра станет вчерашним.
Петер Вейс*

Интродукция

Цветы и рыбы любят холодную воду. Существа, беззащитные перед прямыми лучами, чахнувшие в тепле, ищут спасения от иссушающего смертельного воздуха, гибко и беззвучно уходят вглубь, сверкнув серебряной чешуей, подалее от манящей поверхности, туда, где на песчаном дне между скалами, под мутным серо-зеленым солнцем их ждут, благосклонно покачиваясь, вея длинными изумрудными телами, вечно живые цветы моря. Человек гуляет среди зарослей в тенистой прохладе, под известковыми сводами, плутает в джунглях, вспугнув стаю прозрачных красноватых рыбок, проплывающих мимо в сиреновом фосфоресцирующем небе, где стоит неподвижно мутное электрическое светило. Рыбы спрашивают себя: как он сюда попал?

Как все. Люди бродят по залам и коридорам в сумраке между подводными жителями: любопытствующие, скусающие, восхищённые; толпятся перед бассейном, похожим на гигантскую кастрюлю из оргстекла, на хрустальный колокол, на купол цирка, все взоры устремлены на арену; песок, усеянный раковинами, слюдой, мерцающими плоскими камушками, сыплется, шевелится, дышит, это не песок, а чья-то спина, чешуйчатая кожа, вырисовывается огромный хребет, подрагивают иглы, колышутся крылья-плавники, – чудовище выпрастывается из песка, стряхивает присосавшихся моллюсков, плывёт вдоль круглой стены аквариума, толпа расходится. Гость остался один на один с легендарным монстром, гордостью океанографического музея. Но тот его не замечает. Человек идёт дальше. Рыбы-черви, рыбы-растения, увешанные серебряными пузырьками, куртины качающихся бледно-слизистых паучьих побегов, танцующих на одном месте, пока кто-нибудь не снимется с места, и тотчас за ним уносится, гибко подрагивает завивающимися концами, ускользает в щели утёсов вся поросль. Комки живой слизи, как в день творения, висят на уступах лиловых, розоватых, аметистовых скал; многоугольные, плоские, пупырчатые, безглазые существа со зрячей кожей неслышно передвигаются по дну, пожирая всё, что встречается на пути; человек идёт дальше. На песчаном плато – развалины города, обломки капищ и колоннад. И вдруг выплывает из темно-зеленых глубин, повисает в пространстве, вея прозрачными плавниками, пышным ки-

сейным хвостом, вращая светящимися, незрячими, круглыми пузырями очей, разевает плоскую беззубую пасть владыка подводного мира.

Он висит в пустоте, медленно раздвигая рот; всё шире и шире; теперь видно, что пасть разрезала половину его туловища; гигантский зев с хвостом и жабрами; нет надобности охотиться, незачем двигаться: и мелочь, и средний люд, кто плавно, кто кувыряясь, влекутся в разверстную пасть. Близится время закрытия, и, обернувшись, посетитель видит идущих к выходу; в зале становится ещё сумрачней, но сил нет оторваться от зрелища плывущих, качающихся, судорожно дёргающихся тел. Медленно сходятся половинки рта, расщеплённое чудище вновь становится рыбой; и сытый, усталый, роскошно-кисейный богдыхан опускается на дно.

В чертогах смерти погасли огни, на потолке играют зелёные тени, и светятся мутно-фосфоресцирующие витрины, гость убыстряет шаги, наугад пересекает подводные залы, косясь на беззвучный, не спящий мир за толстыми стёклами. Гость очутился в переходе, где уходили вдаль таблички дверей, – очевидно, здесь размещалась администрация, вернулось время рассказа; вдоль потолка тянулись газосветные трубки, так называемые лампы дневного света – призрачно-белый, безжизненный день. За поворотом дверь с вывеской тёмного стекла, тускло-золотые буквы.

Посетитель взялся за косо прибитую ручку, тяжёлая створка подалась, на эстраде, возле председательского стола, за небольшой трибуной докладчик – лицо освещено снизу лампой под чёрным колпаком – шевелил устами, два десятка слушателей сидело в передних рядах. Никто не обернулся. Председатель спросил: «Товарищ, вы к кому? Вы из академии?»

Вошедший молчал, и все повернулись к нему, а докладчик налил себе воды из графина. Был седьмой час, в больших окнах стояло отливавшее металлом густо-синее небо. Вошедший шёл между рядами к эстраде. «Вы откуда?» – снова спросил председатель. Человек остановился и сказал:

«Я хочу спросить. Как называется это животное... эта рыба с огромным ртом?» Он показал руками, как отворяется пасть.

«Товарищ, – сказал председатель, – здесь сессия научного общества. Вы кто? Вы член общества?»

«Нет, я просто так, – сказал посетитель, – я пришёл в музей. Я хочу спросить», – повторил он.

«Музей закрыт. Пожалуйста, не мешайте работать».

Наступила пауза, докладчик на трибуне пил воду. Румяный седовласый старец в первом ряду поднял руку.

«Я заявляю протест. Товарищ интересуется океанографией. Вместо того чтобы его выслушать, мы его гоним прочь. Вместо того чтобы удовлетворить его законное любопытство, мы заявляем, что он нам мешает работать. Работать над чем? Не будем забывать, – сказал почётный член общества, подняв палец, – что любознательность, умение задавать вопросы природе – это первичный импульс всякого научного исследования!»

Председатель выслушал старца.

«Протест отклоняется, – сказал он брезгливо и повернул голову к докладчику. – Продолжайте. А вы, – посетителю, – будьте любезны покинуть зал».

«Что значит покинуть? Нет, я решительно протестую. Пора, наконец, закончить с этим самоуправством. Возможно, товарищ хочет вступить в члены общества».

«В таком случае пусть заполнит анкету и представит список научных трудов. Мы рассмотрим...»

«Вот уж нет! – вскричал почётный член. – Не вы рассмотрите, а мы, мы все здесь присутствующие, рассмотрим и решим. Пора положить конец этому единовластию».

«Позвольте, – сказал председатель, – кто здесь председатель: вы или я?»

«Вот именно. Вот именно! Кто тут председатель. Я предлагаю поставить вопрос на голосование».

«Ну знаете», – сказал председатель и развёл руками.

Посетитель миновал коридор, он шествовал, помахивая портфелем, на встречу служителю, тот поспешно посторонился и смотрел ему вслед. Гость отыскал дорогу в опустевший тёмный зал и приблизился к светящемуся колоколу. Мир и довольство царили в подводном царстве, кисейный властелин отдыхал на песке.

Гардеробщица уже закончила рабочий день. Посетитель сам снял с крючка пальто и шляпу. Служитель, подбежав, отомкнул входную дверь. Посетитель океанографического музея размышлял об устройстве жизни. Город с его домами, тёмными подворотнями, толпами пешеходов и светоносными глазами троллейбусов напомнил ему подводный мир.

Контролёры

Кто он такой? На этот вопрос было бы нелегко ответить и самому Льву Бабкову. Может быть, это станет яснее впоследствии, но обещать мы не решаемся. Было то время суток, о котором невозможно сказать, день это или вечер. Час, когда небо над городом загорается злокачественным оловянным сиянием, темнеют дома и светлеют улицы. Человек с портфелем проталкивался на перроне между ошалелыми жителями пригородов и дачных посёлков. В тускло освещённом вагоне на крюках качались кошёлки с продовольствием, пассажиры тесно сидели спинами друг к другу на сдвоенных скамьях, на мешках и чемоданах в проходах и тамбурах. Поезд нёсся мимо сумрачных полустанков, люди выходили на редких станциях, это был удобный, скоростной маршрут. Понемногу стало свободней. С двух сторон в вагон электрички вошли двое в железнодорожной форме. Вид государственной шинели не может не пробудить беспокойство у всякого нормального человека. Лев Бабков следил из-за полуотпущенных век, как контролёр неспешно, щёлкая компостером, продвигается в проходе. В тёмных окнах вагона стояли и проносились огни, стоял, ехал, словно

в потустороннем мире, другой вагон, и там тоже маячили бледные лица, качались кошёлки, контролёр показывал металлический жетон, пассажир рылся в карманах. Лев Бабков решительно встал и предъявил свой жетон; теперь в вагоне было три контролёра.

Он успел надорвать билеты, за отсутствием щипчиков, у каких-то бедолаг деревенского вида, смотревших с испугом и подобострастием, и, двигаясь прочь, столкнулся с другой шинелью, контролёрша держала в руках блокнот штрафных квитанций за безбилетный проезд. Она спросила: «А вы-то откуда взялись?» – «Как откуда? – возразил Бабков и показал жетон. – Добровольное общество содействия армии и милиции. Общественный контроль». – «Что-то я не слыхала про такое общество», – сказала она. Они стояли в проходе, контролёр закончил проверку и шёл к ним с другого конца.

«И где же ты сел? – продолжала она спрашивать, перейдя на ты, что означало уже некоторую степень коллегиальности. – Вот, – сказала она, – из общества, какой-то добровольный контроль».

«А, – сказал контролёр, – есть такой. Чего ж ты один-то ходишь?»

Втроем вышли в тамбур.

«Давай, тётка, подымайся, – промолвил старший контролёр. – Сейчас двери откроются, людям выходить надо».

Старуха, сидевшая на мешке, возразила:

«Куды ж я полезу».

«Туды», – сказал он.

Поезд остановился, контролёры вышли и направились к другому вагону, женщина обернулась; Лев Бабков кивнул, дав понять, что он следует за ними, но был отеснён ввалившейся толпой; что, однако, не противоречило его намерениям; он стоял в тамбуре у стенки с правилами для пассажиров; можно было заметить, слегка высунув голову, как контролёры вступили в другой вагон; и в последнюю минуту Лев Бабков выскочил на платформу.

Электричка ушла, нужно было ждать следующей. Он направился к вокзалу. У дверей стояли они оба. Контролёр сказал насмешливо:

«Куда ж ты сбежал-то».

Лев Бабков пожал плечами.

«От нас не убежишь. А ну, покажь».

«Чего показывать?»

«Жетон, говорю, покажи. Ты где его взял?» – спросил он, разглядывая жетон с колечком, которое надевают на палец, чтобы не потерять. Потом сунул его в карман.

«Ну, я пошёл», – сказал Бабков сумрачно.

«Стоп. Куда торопишься. А штраф кто будет платить?»

«Какой ещё штраф».

«Хорош гусь, – усмехнулся контролёр, – видала? Выпиши ему квитанцию. Документ есть? Предъяви документы».

«Да пошёл ты... Документы. Я тебя знать не знаю».

«Значит, так, – сказал контролёр. – Документов нет. Билета тоже нет. Ходит по поездам с фальшивым жетоном. Да ещё, небось, штрафы собирает».

Все трое вошли в зал ожидания.

«Будучи задержан, грубит персоналу. Что ж нам теперь с ним делать, наряд вызвать или как?»

Контролёр стоял перед задержанным, уперев руки в бока. Женщина спросила:

«Ты куда едешь-то?»

Лев Бабков снова пожал плечами и ответил, что ещё не решил; может, до Одинцова.

«Садись в поезд, а куда ехать, не решил. Ты вообще-то где проживаешь?»

«Вообще-то в Одинцове».

«Так. А ещё где?»

Лев Бабков устремил взор в пространство.

«И ко всему прочему без определённого места жительства. Давай, – сказал контролёр, – пиши ему квитанцию, хрен с ним».

Женщина в шинели поглядывала на часы; смена кончилась.

«Может, посидим где-нибудь?» предложил Бабков.

«Я что-то продрог», – возразил контролёр.

«Весна гнилая какая-то, ни то ни сё», – подтвердила контролёрша.

«Как бы это, того, не простудиться».

«Вот и я говорю. Ходишь цельный день на сквозняках».

«Чего на меня смотришь? – сказал контролёр. – Ишь, какой шустрый: посидим. Мы при исполнении служебных обязанностей. Сейчас вот сдам тебя дежурному, он наряд вызовет. Пуцай разбираются. Ты как считаешь, Семёновна?»

«Да чего уж там, чего считать-то».

«Вот то-то. Служба есть служба», – сказал контролёр, и печать судьбы и долга обозначилась на его лице.

Приятное времяпровождение

«Я тебе так скажу...» – продолжал контролёр после того как официантке было заказано то, что положено заказывать, и выпито, и повторено, и потюкано вилкой по тарелке, и контролёр выпростался из чёрной шинели, и Лёва, вскочив с места, предупредительно принял от порозовевшей Анны Семёновны её форменное облачение, и всё это вместе с пальто и шляпой Бабкова было свалено на подоконник рядом со столиком, причём сам Бабков оказался при галстукке и в приличном, хоть и поношенном, пиджачке и даже с университетским ромбом на лацкане. Заказали ещё графинчик и ещё по одной порции салата из помидоров, и по рубленому шницелю, и как-то незаметно тем временем в дым-

ном зале набралось народу, и на дощатом помосте уже настраивал инструменты кочующий по пригородным станциям эстрадный ансамбль.

«Я вот тебе так скажу. Ты хоть и... – он запнулся, не найдя нужного слова, – ну, короче, хрен знает кто, но человек образованный, это я сразу заметил. И с портфельчиком ходишь. А мы люди рабочие. Мотаешься с утра до ночи по поездам, да ещё тебе потом начальство холку намылит за невыполнение плана».

«Какого плана?»

«А вот такого. Финансового, вот какого».

«Разве есть план собирать штрафы?»

«А как же. На всё есть план. И на убийц есть план, и на воров, и на грабителей, а ты как думал? Положим, надо тюрьму новую выстроить: откуда ж это известно, сколько там должно быть камер, сколько этажей? А вот смотрят, сколько положено по плану поймать преступников. Так же и безбилетников: положено столько-то выявить в день. Значит, выяви. И соответственно представь столько-то корешков от квитанций. А не представишь, холку намылят. Причём каждый год план всё выше».

«А если перевыполнил?»

«Премию получишь. Только я говорю, что план каждый год повышается».

«По-моему, – сказал Бабков, – безбилетных пассажиров хоть пруд пруди».

«Это верно, – согласился контролёр. – Так ведь не каждого поймаешь. И на лице у него не написано. Ну давай, что ли, за знакомство».

«Будем здоровы», – сказал Лев Бабков, и тут как раз оркестр грохнул что-то невообразимое; Лёва пригласил даму на танец.

«Валяй, Семёновна, – махнул рукой контролёр. – Небось, сто лет не танцевала».

«Куда уж там. По молодости ещё туда-сюда, а теперь чего уж».

«Вы и сейчас молодая».

«Скажете. Людей смешить. Это мы танго танцуем?» – спросила она.

«Вот видите, вы всё знаете».

«Да уж куда там».

«Мне ужасно неудобно перед вами, Анна Семёновна, – сказал Бабков. – Эта дурацкая история с жетоном. Чёрт меня дернул. Счастье, что на хороших людей нарвался».

«А ты ещё сбежать хотел».

«По глупости, Анна Семёновна: испугался. Я вам откровенно скажу, у меня тяжёлая полоса. Да и вообще: не везёт мне в жизни».

«Эва. А кому ж везёт».

«Не знаю, может, кому-нибудь и везёт. Есть счастливики, у кого есть крыша над головой».

Танец продолжался, теперь уже трудно было сказать, какой эпохе он принадлежал, согбенный гитарист на помосте, широко расставив тощие ноги, бил и щипал свой плоский инструмент, похожий на крышку от стульчака, и время

от времени что-то бормотал в микрофон, разносивший по залу его хриплый шепот.

«Ты вроде говорил, что живёшь в Одинцове».

Бабков не отвечал, скорбно и сосредоточенно вёл между редкими парами свою даму.

«В Одинцове, говорю! Ты вроде говорил».

«Живу, – усмехнулся Лёва. – Вот сейчас приеду, а там моё барахло выкинули на улицу».

«Эва; чего ж так?»

«А вот так: катись на все четыре стороны!»

«Слышь, Стёпа? – Музыканты гуськом удалились подкрепиться, оставив инструменты на эстраде. – Он говорит, с квартиры вышибают».

«А вот это он зря. Бандуру свою оставил. Уведут, и не заметит».

«Слышь, что говорю?»

«А? Чего?» – отозвался контролёр.

«Спишь, что ли. Его с квартиры выселяют. В Одинцове».

«Кого?»

«Оглох, что ли? Я говорю...»

«А ты кто такой?» – спросил контролёр.

«Забыл, что ль. Безбилетник».

«Выпиши ему квитанцию».

«Мне очень неудобно перед вами. Я Анне Семёновне уже говорил, это счастье, что я хороших людей встретил».

«Предъяви документы».

«Да ладно тебе, Стёпа. Заладил».

«Выступает! – крикнул с эстрады гитарист. – Лауреат конкурса на лучшее исполнение! Поаплодируем, граждане».

Под жидкие хлопки на эстраду вышла певица с круглым старым лицом, в длинном облегающем платье с разрезом до талии.

«Ничего себе бабец», – сказал контролёр.

«Может, ещё закажем?» – спросил Бабков.

«Ни-ни. Вишь, какой он».

«Помню, я ещё молодухой была. Наша армия в поход куда-то шла».

«Ничего себе. А?»

«Стёпа... Пошли, мы тебя в вагон посадим. Сам-то доедешь? Или тебя проводить?.. Где эта кукла?» – спросила Анна Семёновна, ища глазами официантку.

«Я заплачу...»

«Да у тебя, небось, и денег нет».

«Я заплачу».

«Всю-то ноченьку мне спать было невмочь! Раскрасавец парень снился мне всю ночь!»

«Что это за херня, – сказал контролёр, – если снился, значит, небось, спала!»

«Ну-ка помоги. Тащи его. Давай, Стёпа».

«А вот я вас всех... Нечего меня провожать. Я вас в рот всех, мать, в гробу!»

«Да, такая жизнь. Вот сейчас вернусь, а там уже кто-то другой на моём месте. Может быть, и есть люди, которым везёт в жизни. Я к ним не отношусь», – говорил Лев Бабков, заворачивая в газету хлеб и кое-что оставшееся на тарелках.

«Я вам скажу, Анна Семёновна, – продолжал он усталым голосом, уже в вагоне, – что я за человек...»

Время – двенадцатый час в начале.

Ночлег

«Тебе выходить», – сказала она неуверенно.

Поезд несётся во тьме, минуя полустанки, женщина смотрит в окно, где дрожат лампы, поблескивают ручки сидений, проскакивают слепые огни, где напротив сидит некто, о котором впору подумать, не призрак ли он, не пустое ли отражение в тёмном стекле, если можно думать о чём-нибудь, кроме дома и тёплой постели, в этот долгий, поздний вечер. Усталость, усталость! Не хочется смотреть ни на кого, не хочется говорить. Между тем он и не думает вылезать, поезд сбавил скорость, и вот уже едут навстречу, замедляя ход, фонари, едет платформа.

«Слышал, что сказала? Одинцово».

Лев Бабков туманно взглянул на спутницу. Кто-то брёл мимо в полупустом вагоне, открылись двери; голоса на платформе.

«Давай; ещё успеешь. Али окоченел?» Она почти тащила его по проходу.

Выбрались в тамбур.

«Значит, гоните меня?»

«Не гоню, а пора. – Раздался свисток. – Погуляли и будет. А то там твои вещи выкинут».

«Уже выкинули».

Чей-то голос с чувством ответил на платформе: «Ну и хрен с тобой! Ну и катись, видали мы таких».

Мимо пробежал дежурный по станции.

«Вот я и говорю, – продолжал голос. – Хрен с тобой, говорю, катись отсюда-ва».

Поезд всё ещё стоял.

«Видно, что-то случилось, – сказала она, – везёт тебе... Милый, давай прощаться; устала я. Счастливо тебе, дай тебе Бог».

«Анна Семёновна», – пролепетал он, стоя на опустевшем перроне, и почти сразу же свисток дежурного раздался во второй раз. Половинки дверей сдвинулись, но Лев Бабков успел схватиться за резиновые прокладки. Поезд снова нёсся среди неведомых далей, в непроглядной тьме, мимо спящих посёлков, посылая вперёд слепящий луч, немногие путешественники раскачивались на скамьях, и тусклое отражение провожатого утвердилось вновь на своём месте за окошком.

Она спросила:

«Куда ж мы с тобой теперь?»

Лев Бабков объяснил, что он ненадолго, на два дня, «а там я устроюсь».

«Куда ты устроишься?»

«Я в институт поступаю».

«Учиться, что ль? Поздно тебе учиться».

Он ответил, что поступает в научный институт. «А насчёт денег, Анна Семёновна, не беспокойтесь. Насчёт квартплаты. Я уплачу».

«Зачем мне твои деньги, мне твоих денег не надо. А вот что соседи скажут. Привела кого-то».

«Не кого-то, – сказал Бабков. – Я ваш родственник, двоюродный брат из Серпухова».

«А что как милиция нагрянет».

«Ну и пускай, у меня документы в порядке».

«Бог тебя знает, кто ты такой», – сказала она, и, как уже было замечено, на это навряд ли сумел бы ответить сам Лёва.

«Если надо, я пропишусь».

«Эва. Он ещё прописаться хочет. Да на кой ты мне сдался?»

«Анна Семёновна, – сказал Бабков. – Я человек спокойный, непьющий».

«Кто тебя знает...»

«Я хочу сказать, если сочтёте нужным. В Одинцове я всё равно не прописан».

«А у тебя вообще-то прописка есть?»

«Я у жены прописан».

«Так ты женат?»

«Был. Трагическая история, Анна Семёновна, не стоит вспоминать».

«Только вот что... – сказала она, отпирая большой висячий замок. Кто-то проснулся под крыльцом и заворчал. – Свои, свои... – Вылез немолодой лохматый субъект и лизнул руку хозяйке и Льву Бабкову. – Вишь, признал тебя».

«Меня животные любят, Анна Семёновна».

«Только вот что я тебе скажу. Мне завтра рано на смену заступать, со мной поедешь. Одного я тебя тут не оставлю».

Мужчина и женщина, оказавшись наедине под одной кровлей, невольно думают друг о друге. Лев Бабков думал о том, что он лежит на кухне на тонком матрасе, а хозяйка в комнате на высокой железной кровати. Он думал о том, что ей, вероятно, лет сорок пять, она живет без мужа, ходит в черной шинели по вагонам пригородных поездов и вечером, сдав выручку, возвращается и ласкает облезлого пса. Он думал, что ему совсем не хочется к ней, не хочется встать, делая вид, что ему понадобилось выйти по нужде или что его томит бессонница, или что он озяб на кухне и хочет спросить разрешения зажечь газ, что ему не хочется входить к ней в комнату, отогнуть одеяло и лечь рядом

Лев Бабков повернулся на другой бок, было совсем светло, за окном слышался шелест, и было жестко лежать на полу. Когда женщина и мужчина ночуют рядом, то сама собой поневоле мелькает мысль, потому что жизнь навязыва-

ет нам роли, написанные для нас, но не нами, понуждает действовать по правилам, придуманным не нами. Хозяйка, ясное дело, вовсе не жаждет, чтобы он попросился к ней, такая мысль, может быть, вовсе не приходит ей в голову, потому что она устала после хождения по вагонам, потому что ей сорок пять лет и жизнь прошла, – а может, все-таки приходит? Хозяйка спит, но некий бодрствующий уголок ее мозга слегка недоволен, слегка зудит, ибо каждый обязан действовать по правилам. Наш приятель почти уснул, когда его тело поднялось с жесткого ложа и, толкнув слабо скрипнувшую дверь, выбралось на крыльцо. Лев Бабков стоял под мертвой луной и чесал за ушами пса

Небо очистилось, кругом все капало, время от времени повевал ветерок. Должно быть, сыро спать под крыльцом, заметил Бабков, слишком ранняя весна, как же это хозяйка не пускает тебя домой в такую погоду. Пес поднял голову и нюхал воздух. Где-то далеко послышался скрежет гармошки. Опять гуляют, думал пес, если допустить (гипотеза, не противоречащая данным современной науки), что собаки формулируют свои мысли в тех же терминах, что и люди. У гостя же было странное чувство, что он мыслит одновременно за себя и за пса. Как тебя зовут, спросил Бабков, но тот ничего не ответил. Я надеюсь, ты умеешь разговаривать, продолжал гость. Это смотря с кем, подумал ночной спутник, и смотря когда. Когда могу, а когда не могу. Некоторые умеют, а некоторые не умеют. Меня это не удивляет, заметил Лев Бабков, ночью все возможно. Может, на самом деле я сплю на кухне, а не стою на крыльце. Ты не ошибаешься, был ответ. Бывает, спишь, даже когда не спишь. Это я по себе знаю. Впрочем, трудно решить, подумал пес, длинно, сладко зевнул и щелкнул зубами. Может быть, это я сплю, а ты мне снишься, все может быть.

После этого наступило молчание, докатилось постукивание товарного поезда. Старый кобель нехотя поднялся, предложил прошвырнуться. Не знаю, заколебался Бабков. Я не одет. – А ты бы пошёл и оделся. – Я войду, а она проснётся. – Дурак ты, братец, я бы на твоём месте... – Мне кажется, заметил гость, в твоём возрасте пора бы уже забыть про такие дела. – Забыть? – возразил пёс. – Легко сказать!

Зверь вернулся, волоча одежду и ботинки, гость облачился в рубаху, подтянул узел галстука, погрузился в вытертые коверкотовые штаны, сунул ноги в ботинки, руки – в рукава пиджака со знаком на лацкане и прошёлся расчёской по редющим кудрям. Три человека прошли по дороге, парень растягивал половинки своего инструмента, женщины пели, но, как в фильме с выключенным звуком, не было слышно ни музыки, ни голосов. Лев Бабков повернул голову им вслед, одна из девушек обернулась, ему показалось, что она узнала его.

День уже занимался, ядовито горели огни светофоров на перламутровом небе, через пути брели к платформе чёрные люди. Собака вбежала в зал ожидания, где одиноко сидела, составив ноги, в шинели и форменной фуражке, со старомодной сумочкой на коленях Анна Семёновна.

«Я уж думала, ты сбежал».

Подошла электричка. Пёс остался на платформе. Вошли в вагон.

«В институт едешь?» – спросила она.

«Я думал, что мне всё это снится», – возразил Лев Бабков.

«Может, и снится, – сказала она зевая... – Попрошу предъявить проездные документы!» – бодро провозгласила Анна Семёновна, извлекла из сумки и наде-ла на палец жетон. Навстречу им с другого конца вагона уже двигалась чёрная шинель контролёра Стёпы.

Тут, однако, произошло нечто, явился некто.

Чудо Георгия о змие

С позолоченным деревянным копьём, наклонив остриё в дверях, с постной миной вошёл в вагон персонаж, чьё явление вызвало неодинаковую реакцию. Иные демонстративно зашуршали газетными листами, кто-то проворчал: «Много вас развелось». Некоторые приготовились слушать.

Кто-то спросил: «А разрешение у него есть?» – «Какое разрешение?» – «Разрешение на право носить оружие». – «Какое же это оружие, смех один». На них зашикали. Большинство же публики, навидавшись всего, никак не реагировало.

Человек стащил с головы армейскую пилотку. «Попрошу минуточку внима-ния, – воззвал он, и настала тишина. – Дорогие граждане, братья и сестры!

Православный народ, папаши и мамашы,
разрешите представиться, я – святой Георгий.
Расскажу вам, что со мной приключилось,
расскажу, как есть, как дело было,
а кому неинтересно, пусть читает газету».

Из уважения к баснословному персонажу проверка билетов была приостано-влена; поезд спешил к Москве, это был удачно выбранный маршрут с немно-гими остановками.

Солдат продолжал:

«В первый день, как войну объявили,
принесли мне сразу повестку
и отправили на передовую.
Вот залёг я с бутылкой в кювете
И гляжу на дорогу, жду змея.
С полчаса прошло, пыль показалась,
задымилась дорога, вижу, змей едет
с головы до ног в чешуе зелёной,
шлем стальной на нём, сам в ремнях, в портупее,
сапоги начищены, из себя видный.
Вот подъехал он, глядит в бинокль –
словно молнии, стёкла сверкают.
Я в кювете сажу, затаился,
подпустить хочу его поближе.

Только тут он на цыпочки поднялся
И в канаве меня надыбал.
Увидал змей в канаве мой кемель,
увидал пилотку со звездой,
рассмотрел моё обмундированье,
на ногах увидел обмотки
и, слюнявую пасть разинув,
стал всю смеяться надо мною...»

«Не кажется ли вам странным, ведь уже столько лет прошло», – сосед по лавке шепнул Льву Бабкову.

«Вы имеете в виду легенду?»

«Я хочу сказать, после войны прошло столько лет».

«Это вам так кажется, – возразил Бабков, – народ помнит войну».

«Да, но посмотрите на него. Сколько ему лет, как вы думаете?»

«А это вы у него спросите». Приближалось Нарбиково или какая там была следующая станция, поезд шёл, не сбавляя скорости, словно машинист тоже решил уважить сказителя.

«Стоит, гад, заложил лапу за лапу,
а передней хлопает по брюху.
По-ихнему, по-немецки лопочет,
Дескать, что там время тратить, рус, сдавайся,
куды ты суёшься с голой жопой
с нами, змеями, сражаться!
Поглядел я на него, послушал,
сплюнул на землю, размахнулся
и швырнул ему под ноги бутылку,
сам упал, спиной накрылся,
голову загородил руками.
Тяжким громом земля сотряслась,
пыль, как туча, небо застлала,
а ему, суке, ничего не доспелось.
Стоит себе целый-невредимый,
сам себе под нос бормочет
и копается в своём драндулете:
повредил я, знать, его телегу.
Между тем нет-нет да обернётся,
пасть раззявит, дыхнёт жаром
и обратно носом в карбюратор.
Я вскочил – и гранат в него связку!
Вижу, змей мой не спеша отряхнулся,
из ноздриц пыль вычихнул, утёрся,
повернулся, встал на все четыре лапы,
раскалил глазищи, надулся
и ко мне двинул.
Мама родная!

Помолись хоть ты за мою душу,
за свою горемычного сына!»

В вагоне расплакался ребёнок. Раздались голоса: «У-ти, маленький! – Гражданка, вы бы прошли в детский вагон. – Нельзя же так. – Мешаете людям слушать. – А чего его слушать-то. – Много их тут ходит. – Да нет такого вагона. – Небось, на пол-литра собирает. – Постыдились бы, гражданин. – Человек кровь проливал, а они... – Дитё плачет, а они всё недовольны. У-ти, маленький...»

«Что тогда было, сказать страшно.
Выскочил я из кювета,
побежал я змею навстречу,
сам ору: ура! За Родину, в рот ей дышло!
И всадил я своё копьё стальное
в хохотальник ему, в самую глотку.
Сам не знаю, как оно вышло,
только тут со змеем беда случилась:
поразил его недуг внезапный
аль кишку я ему проткнул какую, –
проистёк он вонючею жижей,
зашатался, рухнул наземь,
шлем рогатый с него свалился,
и настал тут перелом военных действий.
И закрыл он один глаз свой червлёный,
а потом второй глаз.
Я и сам-то
еле жив, от жары весь спёкся,
ядовитой вони надышался,
в саже весь, лицо обгорело.
Перед смертью змей встрепенулся
и хвостом меня мазнул маленько.
От удара я не удержался
и с копыт долой. Пролежали
рядом с ним мы не знаю сколько,
час ли, два, аль целые сутки.
Только слышу, зовут меня:
– Жора!
Я глаза разлепил, – мать честная!
Надо мной знакомая хвигура:
наш лепила стоит в противогазе.
– Жив, – кричит, – братуха, в рот-те дышло!
Провалялся я в медсанбате
три недели, кой-как подллатался,
а потом повезли меня дальше.
В санитарном эшелоне-тихоходе.
ехал, тряся я на верхней полке,
в Бога душу и мать его поминая.

За стеклом меж тем предо мною
всё тянулись составы и составы,
эшелон стучал за эшелоном:
то проедет солдатня с гармошкой,
то девчат фронтовых полный пульман,
то платформы с зачехлёнными стволами.
Знать, не сгнула наша Россия,
отдышалась, портки подтянула
и всей силой своей замахнулась.
Под конец везли пленных змеев,
не таких, как мой, поживее,
погрязней и уж не таких гладких,
и обутых в валенки из эрзаца.
После них все кончились вагоны
и поля пустые потянулись,
перелески, жёлтые болота.
Растрясло меня вконец, уж не помню,
как добрался я, как сгрузился
и проследовал в кузове до места.
По тылам, по базам госпитальным
наскитался я, братцы, вдоволь.
Много ль времени прошло аль боле,
стал я помаленьку выправляться.
Тут опять жизнь моя переменялась:
снюхался я с одной медсестричкой.
Баб крутом меня было пропасть,
но её я особо заприметил.
Слово за слово, ближе к делу –
клеил, клеил, наконец склеил.
Как настанет её дежурство,
так она ко мне ночью приходит.
Так прожили мы, почитай, полгода,
а потом я на ней женился.
С нею я как сыр в масле катался,
отожрался и прибарахлился.
С рукавом пустым, с жёлтой нашивкой,
морда розовая, на груди орден Славы, –
как пройду, все меня уважают
и по имени-отчеству называют».

Чудо Георгия о змие. Кода

Поезд остановился, и человек с золотым копьём прервал свою сагу. Вошли новые пассажиры; никто не вышел. Всё стихло, скучный пейзаж нёсся за окнами, кто-то дремал, кто-то было громко заговорил, на него зашикали, все ждали

продолжения. «Как вы думаете, – шепнул сосед, – чем можно объяснить живучесть этой легенды?» – «Кто вам сказал, что это легенда», – проворчал Лев Бабков. «А известно ли вам, – не унимался сосед, – что папа Геласий, был такой римский папа, причислил Георгия к святым, известным более Богу, чем людям?» – «Неизвестно», – сказал Бабков. Вагон подрагивал, и летели в безвозвратное прошлое поля, дороги, грузовики перед шлагбаумами, чахлые перелески.

«Вот война окончилась, братцы», – сказал солдат.

«С Катей вместе мы тогда снялись,
а ещё я снимался отдельно
на коне, со щитом и в латах,
с копием, со знаменем на древке –
как я, значит, змея сокрушаю.
Всё, само собой, из картона,
из подручных, как говорится, матерьялов,
на фанере конь нарисован,
я в дыру лишь морду просунул.
Выпили мы тогда изрядно –
я недели три колобродил...
Пропил хромовые колёса
и костюм, и Катин полушалок,
и ещё кой-какие вещички.
Было так, мамыши мои, многожды,
аж ползком, бывало, возвращаюсь,
аки змий, к домашнему порогу».

«Вот видите, – зашептал сосед, – я же говорю: известным более Богу, чем людям!»

«Никогда меня Катя не бранила,
из любой беды выручала,
всё терпела, главу держала,
как я зелье изрыгал и закуску,
и сама меня раздевала,
на подушки с кружевом ложила
под моим же знаменитым патретом...
Все же есть еще во мне сознание –
стал я думать, куда податься,
для чего себя приспособить.
Пенсия моя небогата,
знать, не много я на войне заработал,
только слава, что Победоносец.
Думал, думал, ничего не надумал,
люди добрые подсказали,
научили делать зажигалки.

Хитрая, однако, машина:
Крутанёшь колесечко, – другое
вслед за ним тотчас повернётся
и летучую искру высекает.
Фитилёк бензиновый вспыхнет,
и валяй, закуривай смело:
ни огня не надо, ни спичек,
ни кресала, и дождь тебе не страшен.
Вот стою я раз на толкучке
со своим самодельным товаром.
Вдруг навстречу знакомая хвигура.
Пригляделся я – мать честная!
Да ведь это же Коля Чуркин,
старый друг, фронтовой лепила,
что меня с поля боя вынес,
на тележке безногий едет.
Сам кричит: “Здорово, пехота!
Чем торгуешь, каково жируешь?”
Не нашёл я, что ответить Коле,
молча я к нему склонился,
обнялся с ним и расцеловался.
Выпили мы с ним ради встречи.
Говорит мне Коля: “Эх ты, дура,
что ты, дура, жисть свою корёжишь?
Брось-ка ты свои зажигалки,
а займись делом поумнее...”
Стал смекать я, мозгами раскинул
и придумал, наконец, стаканчик.
Дело это, братцы, такое:
много их, желающих выпить,
у подъездов и по магазинам,
в подворотнях аль просто на воле.
У кого и деньги в кармане,
у кого в руках поллитровка,
а разлить во что – не имеют.
Вот и пьют на троих некультурно,
каждый маму ко рту прикладывает
да, глядишь, утереться забудет,
а какой он, кто его знает:
может, он гунявый аль гундосый,
может, у него во рту зараза.
Тут я к ним как раз приближаюсь,
не спеша, солидной походкой,
мол, не нужно ль, ребята, подмоги,
обслужить культурно, кто желает.
У меня при себе бумага,
а в бумаге у меня селёдка,
чесночку зубок – кто желает, –

для хороших людей не жалко,
для кого и яблочко найдётся.
Опосля достаю стаканчик.
Люди ценят такое вниманье,
заодно и мне наливают.
Тут, глядишь, беседа начнётся,
расскажу им чудо о змее,
а они нальют мне по второму.
Ах, прошли давно те денёчки.
Уж давно моя Катя сбежала
и с подушками, и с детьми.
А таких, как я, со стаканом,
развелось немало в округе,
и моложе меня, и шустрее.
Чуть я сунусь, уж там свои люди,
и рассказы мои неинтересны.
Уж никто в чудеса не верит,
и до лампочки им Георгий...»

«Вот, значит, какие дела, – сказал солдат и горестно оглядел публику. – А все оттого, что жить не умеем».

«Посему сменил я работу,
заступил я на новую вахту,
нонче я с Казанского еду,
а на завтра с Курского вокзала,
до обеда хожу по вагонам,
а потом в буфете отдыхаю.
Братья-сестры, папаши и мамыши!
Вот стою я сейчас перед вами,
как пред Богом, с открытою душою,
весь как есть, за родину увечный,
сирота безродный и бездомный.
Вы на горе моё поглядите,
войдите в моё положенье,
воину-калеке подайте.
Много не прошу – кто что может,
на моё дневное пропитанье,
на краюшку хлеба да на стопку –
говорю это прямо, не скрываю.
Перед вами стою с открытым сердцем,
я, пронзивший копьём дракона,
я, от недруга Русь защитивший,
щитоносец, святой Георгий».

С этими словами он двинулся по проходу и вскоре наткнулся на Стёпу. Контролёр поднял брови. «Сезонка», – парировал сказитель и, по предьявле-

нии сезонного билета, продолжал свой путь между скамьями, держа копьё остриём кверху, подавая пилотку направо и налево. Анна Семёновна, вздохнув, поднялась с места.

«Попрошу проездные документы!»

Шествие Льва Бабкова по своим делам

Куда направился Победоносец, какой путь избрал Бабков? Оставим солдата в толпе, спешащей на площадь вокзалов, и последуем за Лёвой в сторону Преображенки, вдоль неровной линии бывших доходных домов, всё ещё основательных, хоть и пришедших в упадок, с запылёнными окнами нижних этажей, с вывесками контор, чьи наименования, составленные из слов-обрубков, напоминали заумь. Это был какой-то ветхий, доживший до чаемого будущего футуризм. Пешеход свернул в подъезд, взошёл по короткой входной лестнице. На площадке за стеклом сидел с газетой привратник – или сторож, или дежурный – такие люди всегда сидят в этих местах. Их обязанность – не пускать «никого», то есть блюсти порядок, хотя вряд ли кто-нибудь знает, в чём именно состоит порядок.

Сняв очки, вахтёр смотрел вслед вошедшему, несколько встревоженный элегантною бесцеремонностью, надменным величием, с которыми тот, кивнув, помахивая портфелем, прошагал мимо, после чего очки были водружены на место, и дежурный углубился в передовицу. Тем временем Лев Бабков миновал служебный коридор и через задний выход выбрался наружу. Несколько минут спустя он нырнул в пахнущий плесенью чёрный ход жилого строения, непостижимым образом втиснутого в колодец двора. Таково устройство старых кварталов; здесь на каждом шагу убеждаешься, что пространство города, в отличие от природного, растяжимо: где едва хватило бы места для десятка деревьев, могут разместиться многоярусные дома, пристройки, проходные дворы; таково преимущество цивилизации перед природой. Лев Бабков ехал в вихляющейся коробке лифта. На последнем этаже кабина вздрогнула и как бы на мгновение провалилась; гость шагнул в пустоту, но почувствовал под ногами пол; гром захлопнутой двери прокатился по коридору; дом был устроен по образцу меблированных комнат, возможно, и был когда-то гостиницей; гость тащился по длинному коридору мимо мёртвых квартир и кухонь навстречу пыльному солнцу. Позволил, нажал на дверную ручку, не дожидаясь ответа. Дядя сидел за столом с толстой лупой размером с теннисную ракетку. Ай-яй-яй, снова забыл задвинуть щеколду.

Дядя, впрочем, был всего лишь двоюродный. Некогда дядя имел семью и профессию, занимал, как утверждала молва, приличную должность. Всё пожрала страсть, в которой соединились самопожертвование и алчность, бескорыстие

и эгоизм. Дядя отложил увеличительное стекло и поднял на племянника взор, каким смотрят на фальшивую драгоценность.

«Чаю?» Он показал большим пальцем через плечо в сторону кухни. Бабков вернулся с двумя стаканами; явилось варенье или что там.

«Не хочу, – сказал хозяин, – пей сам».

Лев Бабков извлёк из портфеля вчерашние завернутые в газету харчи, а также бутылку дешёвого портвейна.

«Вот это другое дело», – заметил двоюродный дядя. Гость хотел было протереть рюмки бархатной тряпицей специального назначения, но старик замахал руками. Пришлось пустить в ход полы пиджака. Коллекционер поспешно заворачивал в бархат предмет, лежавший рядом с лупой.

«Давненько не видел тебя, – проговорил он, – рассказывай».

«Что рассказывать?» – спросил Бабков.

«Нечего, стало быть», – констатировал дядя.

Помолчали, затем хозяин, которого вино сделало несколько более общительным, произнёс:

«Не понимаю я тебя».

Двоюродный племянник опустил очи долу.

«У тебя такие способности... Ведь были же у тебя какие-то способности?»

«Возможно».

«И внешность вроде бы недурная, и язык хорошо подвешен. Почему у тебя ничего не получается?»

«Что не получается?» – спросил осторожно Лев Бабков.

«Ничего! Сколько тебе лет? Вот видишь. И ничегошеньки, абсолютно ничего из тебя не вышло. Ты нигде не работаешь. Ничего не делаешь. Нет, – сказал дядя, – наше поколение было другим. У нас были ценности! Мы знали, для чего мы существуем на свете».

«Для чего?» – спросил Бабков.

«Могу ответить. Но чтобы так, без цели, без смысла, без... без сознания гражданского долга, наконец. Палец о палец не ударяя, чтобы чего-нибудь добиться! Ты даже не знаешь сам, чего ты хочешь».

«Вот бы и подсказали», – молвил племянник, рассматривая вино на свет.

«Милый мой, жизнь должна иметь смысл».

«Я живу, – сказал Бабков, – вот и весь смысл. Sum ergo sum».

«Нет. Мы были другими. Мы верили, мы трудились. Наше поколение...»

«Ваше поколение. Н-да».

«Наше поколение, если хочешь знать...» – свирепо сказал двоюродный дядя, вонзая жёлтые зубы в шпатель, не доеденный старшим контролёром.

«А сами-то вы?» – ехидно спросил племянник.

«Что я? Что я? – закричал дядя. – Я, между прочим, на фронте воевал».

«Я тоже», – заметил Бабков.

«Тоже? воевал? Ха-ха!»

«Я хочу сказать, я тоже сегодня видел одного... Представьте себе: самого Георгия Победоносца».

«Георгиевский кавалер? – спросил дядя. – Эти кресты большой ценности не представляют. Так вот, на чём бишь... Что это за мясо? – вскричал он. – Это не мясо, а чёрт знает что!»

«Рубленный шницель; в чём дело?»

«Так вот... Ты спрашиваешь, что я. А известно ли тебе, какую ценность моё собрание представляет для науки? Для истории?»

«Для истории, угм».

«Ладно, – вздохнул дядя. – Зачем пожаловал?»

«А вот представьте себе: хочу устраиваться».

«Не может быть. Значит, всё-таки взялся за ум. Впрочем, из тебя всё равно ничего не выйдет».

«Как знать».

«Позвольте полюбопытствовать: куда? кем?»

Лев Бабков ограничился туманным объяснением, прибавив, что у него есть одна просьба.

Громко засопев, качая лысой головой, дядя дал понять, что проект не внушает ему доверия. Что за просьба? Небольшая, уточнил Бабков. Вылезли из-за стола.

«Давно собираюсь поставить стальную дверь».

«Давно надо».

«У Кагарлицкого недавно вырезали всю вот эту часть. Вместе с замками, обыкновенным лобзиком».

Лев Бабков полюбопытствовал, кто это.

«Ты не знаешь Кагарлицкого? Это почти то же самое, что не знать меня.

Он единственный, кто может со мной соперничать... в некоторых отношениях».

И что же, спросил Бабков.

«Вырезать-то вырезали. А дальше шиш. У него там, оказывается, электрический сторож. Сунул руку – и бац! Подержи». Он вручил собеседнику то, что было завернуто в бархатный лоскут. Запоры были отомкнуты, задвижки отодвинуты, оставался главный замок. Коллекционер выбрал из связки самый большой ключ, вставил в скважину и повернул двумя руками; что-то заработало внутри, дядя сунул в скважину другой ключ и повернул в другую сторону.

Вошли в полутёмную комнатку, заставленную шкафами.

«Не здесь, – сказал дядя, вытягивая и задвигая назад плоские ящички, где покоилась вся слава мира. – Здесь настоящие... Зачем тебе настоящие? Ты сам ненастоящий».

Он принял от племянника то, что дал ему подержать, развернул тряпку.

«Приобрёл у вдовы. Только это сугубо между нами... Руки прочь! Обрати внимание, какой величины. И какая работа. Их всего было выпущено девять штук. Один у бывшего румынского короля. Один у этого, как его. И так далее; два экземпляра вообще неизвестно где».

«А как же вдова?» – спросил Бабков.

«Ей вручили имитацию. Не я, разумеется... – он задвинул ящик. – Достань-ка мне вон там наверху».

Это была картонная коробка из-под туфель, в которой что-то гремело. Оба вернулись в жилую комнату, если можно было её назвать жилой. Как все богачи, дядя был нищ. Дядя поставил коробку на стол.

«Типичная для тебя ложная идея, для всех, так сказать, твоих начинаний. Ты хотя бы знаешь, на какой стороне их носят?.. Разумеется, поддельные, но, как видишь, ничем не отличаются от настоящих».

«А настоящие?»

«Что настоящие?»

«Настоящие дорого ценятся?»

«Барахло, – сказал дядя. – Можешь купить на рынке».

Дядя в славе

«Имитация стоит дороже. Имитации, чтоб ты знал, тоже являются коллекционными объектами. Существуют даже имитации имитаций. И, что самое замечательное, никто не может за это притянуть к суду. Закон преследует подделывание подлинников, а подделывание подделок – против этого, слава Богу, нет законов! А бывает и так, что фальшивка оказывается подлинником, а подлинник – фальшивкой. Бывает, и даже нередко, что фальшивка дороже подлинника. Подлинник в некотором смысле сам является фальшивкой – по отношению к подлинной, настоящей фальшивке. Диалектика! Может, лучше парочку медалей?» – спросил он.

«Медали – это уже не модно, – заметил племянник. – Как вы полагаете, не сбегать ли ещё за одной?»

«Валяй. И закусить там что-нибудь. Получше что-нибудь!» – крикнул он вдогонку. Несколько времени спустя Лев Бабков вновь прошествовал мимо привратника, который в этот раз спал за стеклом; снова задний двор, лифт, коридор, и на столе воздвиглась вторая бутылка; племянник резал ситный хлеб, разворачивал бумагу с закуской. Двоюродный дядя хищно следил за приготовлениями.

«Вот вы сказали, купил у вдовы. Это наводит на интересные размышления...»

«Какие же это размышления?» – спросил дядя, держа в обеих руках огромный бутерброд с продуктом, который обладал всеми признаками колбасы, не являясь ею. Осушили по рюмке и немного погодя ещё по рюмке.

«Опять», – проворчал он.

«Что опять?»

«У меня от этих яств такая изжога, что хоть вспарывай себе живот. Японским мечом. Нет, пора, наконец, с этим покончить. Отрежь-ка мне ещё кусок... Нет, они просто отравляют всё население. Я буду жаловаться».

«Кому? Ваше здоровье».

«Взаимно. Так, э... какие же замечательные мысли ты мне хотел поведать?»

«А вот такие, – мечтательно произнёс Лев Бабков, – как бы это поточнее сформулировать. Орден вручается за заслугу и подвиг, орден – как бы эквивалент подвига. Иерархии подвигов соответствует иерархия орденов. Теперь окинем мысленным взором вашу замечательную коллекцию».

«Окинем», – сказал дядя.

«Об этой самой звезде... как она называется? победная? Пока что ещё известно, кто её носил и чем прославился. Но уже никто не знает, куда она делась после его смерти. А там пройдёт немного времени, вдова отдаст концы, война уйдёт в далёкое прошлое, героев забудут. Орден будет переходить от одного собирателя к другому, потом осядет в музей, причём, заметьте, не в музей войны. А в музей орденских знаков. Потом эту звезду кто-нибудь выкрадет. И так далее».

«Не успеваю следить за твоей мыслью, ты хочешь сказать, что...?»

«Вы угадали. Неважно, кто был награждён, неважно, кто наградил, и неважно, за что наградили. Всё это уже никого не интересует. Орден, вот что важно. Награды ведут самостоятельное существование. Классифицируются ли орденские знаки по заслугам бывших владельцев? Конечно, нет, этих владельцев как бы и не было. Соответствует ли ценность ордена величию подвига? Отнюдь».

«Ну и что?»

«Гениальный ответ! – воскликнул Бабков. – В самом деле: ну и что? Что из того, что эти мечи и короны ровно ничего не означают, все эти девизы, эти гордые надписи – за доблесть, за верность, за победу, за веру, царя и отечество, – что из того, что всё это потеряло смысл? Латынь всё равно никто не понимает, а если даже написано по-русски, то это всё равно, что латынь. Но я хочу продолжить мои размышления, а для этого надо подкрепиться...»

«Разумная мысль», – заметил дядя.

Лев Бабков бродил по комнате; дядя давно покончил со съестным, вторая бутылка была допита, дядя сидел перед коробкой для обуви, размышляя о бренности жизни.

Бабков сказал:

«Вы говорите, ложная идея; пусть ложная. Допустим, что из моего намерения потрудиться на благо отечества ничего не выйдет. Уверяю вас: я не только готов к этому, я и огорчаться-то особенно не буду...»

«Вот-вот – а я о чём говорю?»

«Минуточку, вы меня не дослушали. Вот вы тут толковали о ценностях. Слава, отвага, вера в Бога, патриотизм, во что всё это превратилось? В эти ваши коробки и ящики, и это ещё не самый худший конец».

Коллекционер громко засопел. Племянник продолжал:

«А что же вы хотите? После всего, что... ну, словом, после всего, что было, вы хотите, чтобы ещё сохранились ваши так называемые ценности? Когда само слово «ценность» начисто обесценилось. Но мы с вами хотя бы помним, что когда-то они существовали. Я-то, по правде сказать, уже не знаю, что оно означает. Но не обо мне речь. Появляется человек... Да, появляется массовый чело-

век, для которого всё это вообще не вопрос. Он ничего не отрицает, этот человек, и ничего и не защищает; ему это вообще до лампочки... Он отрицает не ценности, а самую идею ценностей».

Оратор заглянул в одну бутылку, потом в другую.

«Заметьте, – пробормотал он, – совершенно та же самая история, что и с Богом».

«Что, ничего не осталось?» – спросил хозяин озабоченно.

«Пусто, – сказал Лев Бабков. – Господи! Сколько было волнений по поводу того, что шатается вера»

«Я, – сказал дядя, – неверующий. Но я уважаю религию!»

«Если нет Бога, то всё позволено. Если нет Бога, то какой же я штабс-капитан. И так далее. Скажите вы на милость: кого это сейчас волнует? Есть Бог, нет Бога... Время бунта миновало, мы живём после атеизма, понимаете? Невозможно быть ниспровергателем того, чего нет, невозможно дискутировать по вопросу, который – не вопрос».

«Я не позволю... в моём присутствии. Я считаю, что...»

«Представьте себе, вы играете в шахматы. И вдруг как-то так оказывается, что у вас съели короля. А вы и не заметили. Выходит, надо кончать? Ничего подобного. Игра продолжается. Великое открытие нашего времени, – резюмировал Лев Бабков, – состоит в том, что без шахматного короля можно обойтись. Без всего можно обойтись».

«Не знаю, не знаю, – сопел дядя, – я посвятил свою жизнь настоящему делу...»

«А не проветриться ли нам малость? Подышать воздухом».

«У Кагарлицкого вырезали дверь. Автогеном. Вот так просто взяли и вырезали».

«Вы говорили – лобзиком...»

«Кто это говорил?» – возмутился коллекционер.

«Верно, верно. Жуткая история».

«Но ведь что-то же это означает?»

«Безусловно, это что-то означает».

«Но что? Вот вопрос. Ну-ка примерь...»

«Лучше вы наденьте».

Покачиваясь, рука об руку, дядя с племянником добрались до конца коридора, где за поворотом находилась дверца с корявой надписью на картоне:

«Посторонним вход воспрещён».

«Порядок есть порядок, – сказал дядя, – вот ты, например, посторонний».

Вскарабкались на чердак, узкая пропасть, род ущелья, отделяла плоскую крышу от соседнего дома

Тотчас кто-то показался в окне мансарды. Нечёсаная тётка спросила из форточки: «Тебе чего тут надо?»

Лев Бабков стоял перед чердачным окном.

«Ничего».

«А ничего, так и нечего по крышам шастать. Ишь новую моду взяли, сейчас дворника позову».

«Ты бы лучше, бабуся...» – лениво промолвил Лёва.

Он раскинул руки, как язычник, молящийся солнцу.

«Батюшки, – вскрикнула она, – а это ещё кто?»

Двоюродный дядя вознёсся на крышу. Некто выступил из-за трубы дымохода в плаще мальтийских рыцарей с командорским крестом, в роскошном, затканном золотой листвой мундире с лентой через плечо, подперев бедро левой рукой. Пятеричный римский крест Святого Гроба, китайский императорский орден Блισταющих Облаков и шведский орден Серафимов, эмалевая, весьма редкая звезда Альбрехта, орден «Материнская слава» и Бог знает какие ещё регалии украшали тощую морщинистую шею, грудь и живот фалериста. Баба в мансарде лишилась дара речи, командор пребывал в иных мирах, нимб светился вокруг его лысого черепа. Оба, дядя и племянник, с молитвенным благоговением озирали свод небес.

Таинственные занятия Льва Бабкова

Насколько нам известно, благородная страсть собирательства ещё не стала предметом специального изучения. Есть руководства по собиранию знаков почтовой оплаты, монет, орденов, новеллы и романы о филателистах и нумизматах, но внутренние пружины этого обольщения, мистика и психология собирательства во многом остаются загадкой. Так, например, всегда считалось, что стяжательство несовместимо с самоотверженной страстью: тот, кто торгует предметами собирания и наживается на них, никогда не станет истинным коллекционером. Между тем известны примеры, когда тайные собиратели официальных бланков, занявшись этим делом с неблагоприятной целью, мало-помалу превращались в бескорыстных любителей, в истинных эстетов и мономанов. Такова природа всякого коллекционерства, и таково было это новое увлечение, с которых пор распространившееся в нашей стране.

Красота бланков, называемых в канцелярском обиходе «формами», особого рода скромное величие государственных и ведомственных эмблем, изящество грифов, росчерков и печатей не может не покорить даже того, кто озабочен конкретной необходимостью добыть нужную справку, кто связывает с ней надежду получить прописку, улучшить анкету, поступить на работу в престижное учреждение, словом, выбиться в люди; нельзя не заметить и эту ауру, род трансфизического свечения, исходящего от официальных бумаг, невозможно отрицать ту особую, присущую удостоверениям и свидетельствам силу, которая превосходит сиюминутный смысл и законные полномочия данного документа, превращает его в охранную грамоту и по праву может быть сопоставлена с волшебными свойствами амулетов – кроличьих лапок, жемчужин или камней. Наконец, азарт добывания бланков и формуляров, известное несоответствие номи-

нала символическому значению, фальсификация бланков и фальсификация фальсификатов – всё это близко напоминает классические виды собирательства, всё это объясняет, откуда, собственно, явилась новая мода.

Фалеристу известно, где добываются ордена и ленты. Филателист знает, у кого он может приобрести интересующую его марку. Нумизмат откапывает, выражаясь фигурально, клады. Но где достать незаполненный бланк, вопрос деликатный, ответить на него можно, по понятным причинам, лишь в самой общей форме. Известная ловкость, чтобы не употреблять слово воровство, кружевное бельё и коробка импортных конфет для хорошенькой секретарши, наконец, некоторые специальные приёмы, связи и тому подобное не исчерпывают всех возможностей. Ибо с некоторых пор к услугам коллекционеров существовала налаженная система торговли. Так, в 198... году рыночная стоимость бланка для справок из домоуправления составляла половину месячной зарплаты делопроизводителя, стоимость диплома кандидата исторических наук равнялась двенадцатикратному окладу младшего научного сотрудника, другими словами, диплом окупал себя в течение года. Что касается незаполненного паспорта с оттиснутой печатью, подписями и штампом прописки в столице, то он, очевидно, был по карману лишь очень состоятельным собирателям. Были предложения заменить практику безвозмездной выдачи справок официальной продажей, что сулило казне огромные доходы. Мы, однако, говорим о свободном рынке коллекционных бланков – новшестве послевоенных лет.

Надо устраиваться, думал Бабков, шагая навстречу другому запоздалому путнику, который пробирался вдоль палисадников на противоположной стороне залитой весенней грязью улицы, думая, по всей вероятности, о том же. Надо ли? – спрашивал он себя.

Юные девушки мечтали устроиться, выйдя замуж за человека, который устроился; об удачливых знакомых говорили: он прекрасно устроился; слово «устроиться» имело конкретный и вместе с тем чрезвычайно широкий смысл, оно означало то же, что для бильярдного шара означает попасть в лузу; оно отсылало к общественному механизму, который растрясал и распределял человеческую массу по многочисленным ячейкам; вступая, как вам казалось, на самостоятельный путь, вы на самом деле ставили ногу на конвейер, и он тащил вас за собой – либо сбрасывал. В конце концов, у вас было так же мало шансов решить самому свою судьбу, как у картофелины на сортировальном лотке, который называется «грохот».

Дойдя до окраины посёлка, Лев Бабков отомкнул калитку известным ему способом, взлохмаченный пёс крутился вокруг и вилял хвостом. Передняя половина дома, пока ещё пустая и тёмная, с застеклённой террасой, сдавалась на лето дачникам. Лев Бабков обогнул террасу и взошёл на заднее крыльцо. Он услышал скрип лестницы; Анна Семёновна заглянула в его каморку.

«Устал?» – сказала хозяйка. Он отвечал неопределённым жестом.

Несколько времени погода постоялец спустился в кухню с алюминиевой кастрюлькой в руке, что давало повод думать, будто он занялся ужином. Прикрутив газ, выудил из кипящей воды яйцо, облил холодной водой и очистил. Яйцо

было белое и блестящее, как мрамор. Он опустил его снова в горячую воду и долил уксусной эссенции.

Лев Бабков вернулся к себе. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Из укромного места была извлечена некая секретная папочка; обжигаясь, он извлёк слегка пожелтевшее яйцо из кастрюли; с этого момента надо было действовать не мешкая, так как свойства гладкой поверхности яичного белка меняются буквально с каждой минутой. Промедление влечёт за собой неудачу, может получиться слишком бледный отпечаток, можно испортить не только бланк, но и оригинал. Внимательнейшим образом необходимо следить за тем, чтобы яйцо не пересидело в кипятке. Немаловажную роль играет концентрация уксуса. Успеху способствует надлежащее расположение планет. Мы не удивились бы, услышав, что в решающий момент экспериментатор произнёс заклинание.

Он посыпал бланк тонким белым порошком. Сдул порошок, несколько секунд подержал бланк над паром, затем, нежно надавливая, прокатил горячее, слегка пружинящее яйцо по лежавшему наготове оригиналу. Тотчас приложил яйцо к влажному бланку, к буквам «м.п.», означающим, как все помнят, место печати, и прокатил снова.

Лев Бабков поднёс бумагу к глазам. Взыскательный художник, он не был вполне доволен своим творением. Всё, однако, получилось как надо: двойной ободок по внешней окружности, круговая надпись, тонкий внутренний ободок, герб. Бледно-лиловый отпечаток на яйце был тщательно срезан, после чего мастер-технолог с аппетитом съел яйцо. Он сидел за столом и аккуратно-безличным, женским секретарским почерком заполнял справку. Дана такому-то, фамилия, имя и отчество, в том, что он...

Дана такому-то в том, что он – тот самый, за кого себя выдаёт. Канцелярский бланк дарует его обладателю восхитительную свободу, вы можете стать кем угодно. О скромная прелесть бумаг, эстетика удостоверений, незримое свечение, исходящее от государственных документов, волшебные свойства штемпеля, подобные свойствам кроличьих лапок, жемчужин и камней! Подпись...

Его биография

Кто он? Вопрос уже был задан на этих страницах.

Подобно тому, как мы получаем имя от родителей, фамилию от предков, подпольный псевдоним от сообщников, кликуху от собутыльников, подобно тому, как нам присваивают номера и литеры регистрирующие, контролирующие, распорядительные и карательные инстанции, – мы получаем в готовом виде так называемую идентичность, нечто удостоверяющее, что мы – это мы, социально-государственную упряжь; а что за лошадка в ней бредёт, that's the question, как сказал некий престолонаследник. Итак, не приблизились ли мы к той границе, где искусство быть протеем в мутно-фосфоресцирующей стихии,

умение скользить и исчезать среди хищных цветов и ветвящихся кораллов бюрократии сопричастно мистике, не имеем ли мы дело с персонажем, чья биография напоминает груды черновиков, чьё прошлое, словно будущее, есть лишь поле возможностей? В сущности говоря, у такого человека два будущих, одно впереди, другое позади, и о нём невозможно сказать: он был тем-то, но придётся сказать – он мог быть им, а мог быть другим, родиться там-то, а может быть, и не там.

Иными словами, нам придётся расстаться с традиционным представлением о биографии как о письменном дубликате человека. Можно сказать, что у Льва Бабкова вовсе не было никакой биографии, или, что то же самое, к его услугам было неопределённое количество биографий, и он вылавливал их по мере надобности, как огурцы из рассола. Повернётся ли язык назвать его правонарушителем? Как уже сказано, случай не столь юридический, сколько мистический. Если же всё-таки необходимо приискать ему место в обществе, определить его классовую принадлежность, то это будет, очевидно, нулевой класс.

Странным образом нулевой класс общества ускользнул от внимания историков. Жизнь есть жизнь и растёт, как трава из расщелин асфальта, между параграфами законодательств и классификационными клетками социологических трудов. Лев Бабков не был ни богатым, ни нищим, ни трудящимся, ни паразитом, ни эксплуататором, ни эксплуатируемым, он не был рабочим, не был земледельцем, не был чиновником, равно не принадлежал ни к начальству, ни к тем, над кем начальствуют, словом, он был никем, но парадокс состоит в том, что быть никем в этом обществе означало быть всем: находясь вне общественного регламента, он, однако, принадлежал к обществу и, может быть, даже был весьма характерным его представителем. Может быть, таких Бабковых было пруд пруди, просто мы этого не знали. Может быть, они толкались вместе с нами в метро и пригородных поездах, числились на разных работах, значились в списках, в картотеках, что-то делали, куда-то спешили, а на самом деле это была видимость, на самом деле все они были социальным детритом, все были нулевой класс. Может быть, и мы с вами в конце концов угодили туда же.

Ибо мы с вами отнюдь не враги существующего порядка, не противники власти, упаси Бог. Но и не Бог вещь какие её поклонники. Нас эта власть устраивает, вернее, нам наплевать на неё. Мы – в щелях порядка, в котором так много щелей, что хватит места для всех. Мы – это просто мы: граждане, вывернутые наизнанку. Проект власти, единственный в истории по своим последствиям, состоял в создании нового человека. Нужно признать, что это блестяще удалось. Мы и есть этот проект, осуществлённый с точностью до наоборот. Сказал же Лёва: выпотрошенный человек не то чтобы растерял «веру», он и не ощущает её отсутствие как утрату. Свободный от бремени ценностей, он свободен абсолютно. Вы клялись диалектикой – вот вам диалектика: раб государства, раб начальства – он на самом деле свободен.

Человек этот, в общем-то, безобидный, «безвредный», как выражается народ. С этим человеком ничего невозможно поделать. К нему не придерёшься, он отнюдь не преступник. Разве что мелкий подделыватель справок, из кото-

рых, впрочем, не извлекает больших выгод: ему лень предпринять что-либо серьёзное. Да, «асоциальный элемент», но со всеми внешними признаками социального: приличный костюм, какой-нибудь там академический значок на лацкане. Упаси Бог, не бомж, не люмпен. Но довольно философствовать, вернёмся к нашему другу.

Не имея охоты посвятить себя какому-нибудь «призванию», не обладая конкретными дарованиями, Лев Бабков был наделён редким даром угадывать возраст времени. И можно без больших усилий представить себе, кем и каков был бы на разных стадиях созревания времени человек, способный тонко чувствовать эти стадии. Он был бы организатором в кожаном картузе, засовывал пальцы левой руки под широкий ремень, а правой размахивал кулаком где-нибудь на мокром от дождя помосте, над морем голов. Он напоминал бы кого-то. Да, пожалуй, в этом и состояло его главное свойство, коренная черта, неизменная на всех стадиях: он всегда умел напомнить кого-то. Десять лет спустя, когда пятна старения уже отчётливо проступили на широком рябом лице эпохи, Лев Бабков восходил бы по винтовой лестнице престижной карьеры; не имея охоты усваивать какие-либо науки (за исключением, может быть, интереса к истории, о чём у нас пойдёт речь в свой черёд), посвятил бы себя административной и общественной деятельности, громил идейных врагов, заседал в комитетах, был бы выдвинут в аспирантуру, а там, кто знает, стал бы профессором. Или – какая разница? – замзавотделом в каком-нибудь министерстве оборудования. Или директором универмага на Новом Арбате.

Словом, благополучно старел бы вместе с временем и страной. Но в том-то и дело, что он не хотел никакой карьеры, и необыкновенные способности социальной мимикрии привели к тому, что Лев Бабков стал внесоциальным элементом. Итак, что можно о нём сказать? Он родился в городе Нижний Тагил на Урале – так, по крайней мере, значилось в его в паспорте. Нижний Тагил, почему бы и нет? Был единственным сыном уборщицы в общежитии медеплавильного комбината, ходившей утиным шагом вследствие двустороннего вывиха бедра, и одного из скольких-то возможных отцов; учился в школе, поступил в ремесленное училище, оказался в компании, подстерегавшей девочек на тёмных улицах, и один раз в каком-то подвале участвовал в коллективном акте ради того, чтобы не отстать от товарищей; нырнул в армию, оказался в Прибалтике, окончил курсы дешифровки вражеских сообщений, был вызван под предлогом болезни матери в Тагил, где его встретил на платформе наряд милиции. Правда, участие в «акте» осталось недоказанным, и Лёву отпустили.

Эта биография, помимо других недостатков, представлялась уже в те времена, о которых идёт речь, устарелой. Биографии могут устаревать. Заметим, что тут имеет место явление, известное психиатрам: бред душевнобольного всегда актуален; сам того не ведая, пациент использует в своих построениях модные мотивы и современные выражения; если не каждый человек есть кузнец своей судьбы, то каждый, во всяком случае, должен уметь смастерить себе биографию; очевидно, что автобиографу полагается быть на высоте своего времени. Прошлое обязано отвечать требованиям современности.

Тут начинается самая уязвимая часть нашего рассказа, но виноват в этом не рассказчик, а герой. Будем по возможности лаконичны; итак: Лёва появился на свет в Петербурге, тогдашнем городе Ленина. Родители, потомственные революционеры-подпольщики, вели своё происхождение от декабристов. Как и полагается, репрессированы в тридцатые годы; посмертно реабилитированы. Мальчик воспитывался у дальних родственников на Урале, где закончил школу. Родился в Белоруссии (Петербург отпадает), родителей не помнил, поэтому можно было считать, что отец погиб не в тюрьме, а на фронте. Был эвакуирован на восток вместе с матерью в суматохе первых военных недель, ехал в товарном вагоне и потерялся, выйдя на случайной остановке. Усыновлён чужими людьми на Урале, в городе Нижний Тагил. Но на самом деле он не мог выпрыгнуть на остановке из вагона, так как родился в вагоне, по прибытии же в Тагил был сдан в детский дом. Мать скрывалась, жила в келье бывшего Святопантелеймоновского монастыря, якобы взорванного после революции, а на самом деле уцелевшего и даже известного тем, что именно в нём триста лет тому назад будто бы окончил в глубокой старости свои дни чудом спасшийся и вторично принявший постриг царь Димитрий I, он же Григорий Отрепьев.

Немаловажная подробность. В эпоху возвращения к началам и корням, когда ностальгия по прошлому охватила общество, ощутилась необходимость в почтенных предках, в предках вообще; до сих пор в них никто не нуждался. Кто говорил, что его дед был губернатором, кто – городским головой; стало почётным происходить от лабазников; из небытия явились дворяне и казаки, пошли в ход лица духовного звания, внебрачные дети и внуки; тут-то и выяснилось окончательно, что Лев Бабков происходит ни больше, ни меньше, как от того самого Отрепьева, который, согласно новейшим изысканиям, не был сыном галицкого сына боярского Богдана Отрепьева, а был подлинным Димитрием, последним отпрыском царя Иоанна. Убит же в Угличе был мальчик по имени Гриша. На чём и можно пока что поставить точку.

Ещё одно сказанье

Впрочем, необходимо объясниться, раз уж зашла об этом речь... Многих занимал вопрос – и притом гораздо больше, чем доводы в пользу высокого происхождения Григория Отрепьева, – верил ли в него сам Гришка. Сам ли он набрёл на эту мысль или ему подсказали другие? Какие, собственно, основания были у него – и у других – для такой уверенности? Невысокий, кряжистый, рыжеватый и голубоглазый, слегка курносый, чисто славянского типа и мало похожий на царя Ивана, у которого нос был ястребинный и внешность скорее татарская, будто бы потомок бояр, а на самом деле холоп князя Бориса Черкасского, молодой человек каких-нибудь двадцати лет от роду скитался по монастырям, был пострижен в монахи, сменил имя Юрий на Григорий, попал в Чудов, где в награду за то, что сочинил похвалу московским чудотворцам, был приближен к па-

триарху и как-то раз, подстрекаемый дьяволом, признался братии, что имел видение: явилась-де сама Богородица и открыла, что быть ему царём на Москве. Патриарх, должно быть, не решился дать делу законный ход, однако разговор этот дошёл до самого царя Бориса Годунова, который проявил милость и повелел заточить Григория под крепким присмотром в монастырь подальше. Между тем князь тьмы очевидным образом помогал самозванцу, если только он был самозванец, а может, и чьи-то руки берегли его: Гришка удрал, объявился в Борисоглебске, уломал тамошнего игумена дать ему лошадь и прискакал в город своей юности – Москву. Где, впрочем, пробыл недолго. В это самое время начали ходить по Москве слухи, что не Димитрий, а другой ребёнок, подставной, был зарезан в Угличе.

Вынырнул Григорий Отрепьев в польских пределах, в чём опять-таки нетрудно было усмотреть руку нечистого (хотя царь Борис был склонен думать, что самозванца изобрели бояре), а именно, оказался в замке князя Адама Вишневецкого, у которого был на службе до того дня, когда под страшным секретом показал князю драгоценный крест, надетый на него крестным отцом, воеводой Иваном Мстиславским, дабы он, Гришка, не забывал о происхождении своём от корня Рюрика. Вишневецкий расхохотался – и поверил. А затем царевича – или лжецаревича, это уж как будет угодно, посетило второе видение, на этот раз вполне земное. В Самборе, в доме воеводы Юрия Мнишка, ему явилась старшая дочь хозяина, которую одни источники называют Марианной, а другие Мариной.

Не подлежит сомнению, что, по крайней мере, в это время он уже твердо верил в свою звезду. Отпал и дьявол как объяснение его успехов. Отрепьев принял латинство; Мнишек, человек грязный, обуянный тщеславием и страстью к интригам, добился в Кракове от короля Сигизмунда полномочий раскручивать дело; само собой, включились отцы иезуиты, из Рима кивал головой в трехъярусном венце папа; что касается панны Марины, то хотя предложение руки восставшего из мёртвых Димитрия было охотно принято, венчание отложили – до того, как произойдёт главное венчание на царство в Москве. Пока же невесте были обещаны самозванцем во владение Новгород и Псков, бриллианты и столовое серебро из царской казны, папаше Мнишку – миллион польских злотых. Бриллианты, как можно думать, сыграли свою роль в происхождении Льва Бабкова, почему и должны быть здесь упомянуты; уже по дороге на Москву обнаружилось, что будущая царица беременна.

Дальнейшее более или менее известно; вместе с рыцарством, а точнее, разным сбродом, собранным воеводой Мнишком в Речи Посполитой и к которому присоединились людишки всякого рода и звания из московских земель, а также донские казаки числом до 2000, так что вся рать составила четыре тысячи бойцов, Димитрий или Лжедимитрий, это как угодно, вступил в пределы Московии, было это осенью 1604 года. Города сдавались самозванцу, войско росло, так дошли до Новгорода Северского. Надлежало, наконец, дать Гришке решающий бой. Басманов, увидев с башни стяги самозванца, на предложение сдаться велел ответить полякам: «А, сукины дети, приехали на наши деньги с вором!»

Князь Фёдор Мстиславский, обнадёженный намёком, что государь выдаст за него дочь свою Ксению, «буде на то Божья воля», исполнился боевого духа и вышел навстречу вору с войском в 50000 ратников, и оно было обращено в бегство войском царевича, у которого было 15000. Князь был ранен, другой воевода, Василий Шуйский, тот, который некогда был наряжен в Углич, хоронил мёртвого царевича или, по крайней мере, свидетельствовал, что видел его в гробу, не мог ничего поделать, а может, и не хотел; тем временем царь Борис умер; наследника Фёдора умертвили, о дочери будет сказано ниже. Димитрий въехал в столицу. Народ, хоть и косился на чужеземцев, кричал: «Солнышко ты наше праведное!», а на Лобном месте встречало духовенство с крестами.

Марина, однако, не спешила последовать за женихом, чему виной было нечаянно вскрывшееся обстоятельство, именно, любовная связь лжецаревича с Ксенией. Борисову дочь постригли и сослали в Белозерск, где она разрешилась ребёнком и, возможно, положила начало новому генеалогическому варианту; заметим, однако, что судьба ребёнка темна, и самый факт его рождения оспаривается. Между тем Марина, явно погрузневшая, въехала в ворота Вознесенского монастыря со свитой родичей и слуг, в роскошном рыдване, в первых числах мая; неделю погодя состоялось коронавание царевича.

Так что всё говорит о том, что в тестисулах Лжедмитрия заключалась вся будущая родословная героя этих страниц, что же касается материнского лона, то это вопрос второстепенный, хотя, впрочем, царская дочь ничуть не хуже полячки. Всё же отчество Лёвы «Казимирович», дальнее эхо Польши, укрепляет в мысли, что это была панна Марина Мнишек. Замечательная наследственная черта, доставшаяся Льву Бабкову, именно, вкус к подделке и привычка выдавать себя за кого-то другого, лишь подтверждает происхождение нашего друга от того, кто сумел убедить себя и других в том, что он последний из дома Рюриковичей. Спрашивается, не была ли эта черта Лжедмитрия, это чувство стеснённости в собственной шкуре и готовность стряхнуть с себя свою биографию, истинной и самой глубокой причиной его перевоплощения.

В самом деле, самозванец представляется загадкой. Откуда взялась в нём его образованность, его государственный ум, как сумел он вдруг показать себя независимым и от боярской думы, и от поляков? Не бояре и не поляки «изобрели» воскресшего царевича, он изобрёл себя сам. Вся блестящая и, увы, недолгая карьера Лжедмитрия наводит на мысль, что он не только использовал для своих целей старого Мнишка и разудалое «рыцарство», тогда как они мнили его игрушкой в своих руках, но что, может быть, отечество наше потеряло в его лице властителя, который направил бы историю по другому руслу. Дух и традиции Москвы были таковы, что талантливый государь не имел шансов удержаться на троне. Царство Григория Отрепьева просуществовало один год. Род Отрепьева не пресёкся, но ушел в безвестность. Зверски зарубленного Димитрия толпа выволокла из царских палат на Красную площадь. Царица Марина спаслась, а года через два тайно венчалась в Тушине, в стане Яна Сапеги со вторым Лжедмитрием. Или с тем же самым? О, сколько возможностей переиграть партию демонстрирует нам шахматный плац истории, сколько вариантов упущено,

сколько мужчин могли бы стать нашими предками, а быть может, и стали, сколько женщин понесли или могли понести наших с вами прародителей! Марина произвела на свет ещё одного сына, по имени Иван, или Ян, но это уже другая история, а мы и без того отвлеклись.

История. Утро ветерана

Между тем, как уже сказано, век старел, и вместе с веком неудержимо старело общество. Времена весёлых молодёжных шествий, славных ребят с открытыми лицами и девушек с теннисными ракетками, с бритыми затылками, в просторных белых юбках ниже колен, в парусиновых тапочках, в трусах с резинками, времена хоровых декламаций, физкультурных пирамид, барабанщиков и горнистов, поэтов, певших: «А моя страна – подросток!», времена эти давно миновали, наступила эпоха зрелости, пришёл климактерический период, а там как-то вдруг бросилось в глаза, что повсюду размножились старики, или, лучше сказать, старцы. Изменился ритм жизни. Медленнее струилась кровь в обызвествлённых артериях государства. Медленней двигались поезда. В делах господствовало правило: тише едешь – дальше будешь. Старцы заведовали учреждениями, сидели в президиумах, обедались на банкетах и приветствовали праздничную сволочь с трибун. Как-то вдруг изменился запах времени. Апартаменты власти приобрели неуловимое сходство с урологическими клиниками, аромат мочи, обогащённой сахаром и уратами, пропитал тяжёлые портьеры, ковры и кресла в начальственных кабинетах; будущее стало походять на прошлое, будущее уподобилось зеркалам, в которых видны уходящие вдаль анфилады, – на самом деле там отражались задние помещения. Тише едешь, дальше будешь. Семь раз отмерь. Необычайно возрос престиж истории. Само собой, заведовали ею старцы. История стала отраслью геронтологии.

Правление старцев, за которыми следующее поколение не признавало никаких заслуг, – но и оно каким-то образом застряло на поддороге, – было на самом деле совсем не бесплодным временем. Выяснился любопытнейший, прежде не известный факт: а именно, что никто не делает историю. Никто не способен творить историю, история творится сама.

Правда, разумели под историей в те времена не совсем то, что понимаем под ней мы, или, лучше сказать, не то, что нам хотелось бы под ней подразумевать.

Потому что история, если позволено будет сказать о ней несколько слов, подобно медицине, обречена на то, чтобы ею вечно были недовольны. Отсюда происходили некоторые заскоки, некоторые крайности, два искушения, два соблазна предстояло преодолеть поколению, которое никак не могло дожидаться, когда, наконец, удастся спровадить на тот свет обсевших все столы стариков.

Один из них можно назвать демонизацией истории. Личина недоброго Бога, который управляет жизнью народов, вот что такое история; смотря по

тому, рулит ли он к концу света или замыслил рай на земле – был ведь и такой проект, – небо истории окрашивается в багровые или розовые тона, и в любом случае будущее предопределено. Но на сей раз, говорили те, кто подпал искушению. Стрелочник выбрал путь, над которым горит красный сигнал гибели. И ничего с этим не поделаешь, хоть ты тут разбейся в лепёшку. Однако нашлись другие, кто сумел противостоять мрачному соблазну опустить руки, – чтобы поддаться второму, ещё менее плодотворному искушению. Люди эти попросту отрицали историю. С прошлым, говорили они, делать нечего. Прошлое запущено и замутнено, прошлое до такой степени – тут приходилось понизить голос – фальсифицировано, что нет никакой надежды навести в нём порядок. История – это кошмар и призрак. И поэтому её всё равно, что не было. Как больной, которому не удалось исцелиться, объявляет всю медицину несостоятельной, как раненый в бою считает проигранным всё сражение, так поколение, увидевшее себя у разбитого корыта, кончило тем, что выкинуло историю на помойку.

Конечно, мы могли бы сказать, что смешно обижаться на историю, которая ведь не есть то, что случилось, а всего лишь то, что написано о случившемся: род литературы. Однако это уже будет научный подход; о науке же речь впереди.

Поколение разбитого корыта, сказали мы. Но ведь были ещё живы современники славных событий, те, кто уцелел и дожил, и кто видел «всё это» собственными глазами! Человек, к которому направлялся наш друг – герой текущего времени, принадлежал к числу таких свидетелей, как ни трудно было представить себе, чтобы он вообще мог что-нибудь видеть и слышать. В темноватом покое с высоким окном, занавешенным гардиной, которую в последний раз стирали накануне свержения Временного правительства, сидела, можно сказать, сама история, величественная и полуживая. История шелестела его бескровными губами. Старый борец плохо провёл ночь и, укрытый до пояса, неуверенно выглядывал из своего кресла, словно спрашивал себя, спит он или бодрствует. Никто, не исключая самого старца, не знал в точности, сколько ему лет, его возраст превосходил его собственное воображение. Его память напоминала тёмный захламлённый коридор, куда лучше было бы не соваться.

Сиплый возглас геронта приветствовал вошедшего:

«Опоздываете, милейший!»

«Как это так, – возмутился Бабков, – на моих часах восемь!»

«А на моих... позвольте, где же мои часы?» Он вытянул из каких-то недр позеленевшую цепочку; некогда, очевидно, существовал и хронометр. «Дуня!» – скомандовал старый борец.

Вошла пожилая женщина с чаем на подносе. Лев Бабков поблагодарил, помещал ложечкой в стакане. Старик сосал сахар. Дуня отодвинула гардину.

«Так, – бормотал секретарь, разворачивая бумаги, – на чём же мы остановились...»

«Вот именно, – строго сказал старец, – на чём мы остановились!»

Он прочистил горло, собираясь с мыслями. По правде сказать, это было не легче, чем дворнику собрать метлой мусор, летевший вдоль узкого переуллка. Ветер обещал свежий день. Солнце, ещё затянутое утренней дымкой, едва успело взойти над крышами, тускло блестели окна, огромный город подсыхал и нежился под лучами, в переулках, похожих на ущелья, бежал народ, трамвай вывернул на площадь; всё было как всегда, и всё менялось – просто этого никто не замечал. Патлатая старуха шаркала в шлёпанцах по тротуару, расталкивала людей.

Она появлялась каждое утро, её видели то здесь, то там, всё видели, иные оглядывались, никто её не узнавал, – мало ли старух шастает по городу, и кому могло придти в голову, что это всё та же, трижды объявленная несуществующей, осенённая авторитетом науки и дискредитированная гадалками Судьба? Солнце заглянуло в пыльную келью. Бабков листал бумаги.

«Значит, так: мы остановились... На чём же мы...»

«Действительно – на чём?»

«На Пятом съезде...»

«Вот именно! – обрадовался старец. – А я что говорю? Всегда вам надо напоминать».

«Позвольте, это я напомнил...»

«А вы меня не учите!»

«Итак...»

Краткая вступительная дискуссия привела старого борца в рабочую форму. Секретарь занёс над бумагой автоматическое перо.

«Не спешите, сосредоточьтесь».

«А вы меня не...»

«Итак?...»

«Яйца курицу учат, – ворчал старик. – Он будет мне указывать, чтобы я не спешил. Как же мне не спешить? Когда нужно ещё столько передать молодому поколению. Ведь они даже понятия не имеют... ведь они... Послушайте, милейший, что я хотел сказать... – Новая мысль пришла ему в голову. – Ведь вас зовут Лев, это правда?»

Услышав утвердительный ответ, он всполошился:

«Постойте, но ведь это еврейское имя! А? Что вы на это скажете?»

«Видите ли, – лепетал Бабков, – вот, например, Лев Толстой...»

«А может, у вас родители были евреи?»

«Или был ещё такой римский папа – Лев Десятый».

«Вы так думаете? Мне кажется, церковники на всё способны. Но почему же Десятый? А где остальные?»

«Я хочу сказать, римский папа не может быть евреем...»

«Это ещё надо доказать, хе-хе...»

«Итак, на чём мы...»

«Евреи играли большую роль в истории нашей партии, – проговорил старик мечтательно. – Помню, во время Циммервальдского съезда...»

«Совещания», – поправил секретарь.

«Не перебивайте меня! Помню, во время Циммервальдского совещания... Или, например, в лагере, если еврей, то его всегда называли Лёва. Что вы на это скажете? Всё-таки у народа есть чутьё. Учитесь прислушиваться к голосу масс. Помню, у нас на лагпункте был нарядчик, такой Артамон Сергеич. Суровый был мужик. Утром входит в барак и этой самой, как её... доской, вроде бельевой доски, о нары: бум, бум! На р-работу, бляди! Послушайте: что вы там пишете?»

Секретарь не отвечал, его рука порхала по бумаге.

«Послушайте, как вас там! Это не для записи!»

«Я записываю ваши воспоминания о Пятом съезде».

«О Пятом съезде? О каком Пятом съезде? Ах, да... ну да. Прекрасно помню дискуссию о методологии. Как сейчас вижу вождя нашей партии... гхм, на трибуне. А этот, как его? Тоже ведь фигура немаловажная. Знаете ли, годы проходят, но время... – Он покачал головой, поднял корявый палец. – Время не властно. Бывало, сидим вместе, он и говорит: а ведь будут когда-нибудь о нас вспоминать! Да, да, пишите... Пишите! Никто не забыт, и ничто не забыто. Что такое?»

«Звонят из Дома культуры», – сказала, просунувшись в дверь, Дуня.

«Я работаю с журналистом, а меня прерывают! В чём дело?»

«Насчёт выступления».

«Буду, непременно буду! Скажи: непременно. В котором часу? Да, так вот... На чём мы остановились?»

Секретарь усердно писал.

«Что они понимают? – бормотал старик. – Ты сначала жизнь проживи, людей узнай, горя хлебни. Полным ртом! А потом говори... Потом судить будешь. Судить они все горазды. А вот ты сначала сам горюшка-то отведай. Умники нашлись. Много вас таких! Да я, да мы, коли на то пошло!.. Мы верили! – сказал он грозно. – Мы в жизнь входили, как на праздник! Как на эшафот! Будешь мне тут доказывать... Да я тебя знать не хочу!» – загремел он.

Некоторое время пенсионер вперялся в секретаря слезящимся взором, потом спросил:

«А ты кто такой?»

Лев Бабков писал. Старик смотрел в пространство. Что-то шевелилось в пустоте. То, что лепетали его уста, не было детритом распавшейся мысли. Скорее его слова можно было сравнить с обломками мебели, ножками стульев, руками и лицами утопленников, которые время от времени поднимались над несущимися водами, тонули и вновь всплывали. История была подобна наводнению, она неслась, как вздувшаяся река. Старик переживал состояние, которое можно обозначить словами: всё сразу. Времена и лица барахтались в его мозгу, и если он не мог справиться с этим хаосом, то лишь потому, что разладился механизм, который расставлял по местам образы прошлого, – хотя бы эти места и этот порядок вовсе не соответствовали той, навсегда ушедшей, действительности. И получалось, что хаос в голове ветерана был ближе к истине прошлого, чем если бы с хаосом сладил исправно функционирующий мозг, – но что тогда следует называть истиной?

Тот, кто хорошо и складно вспоминает, становится жертвой собственного упорядочивающего механизма, который с одинаковой лёгкостью распоряжается фактами и цементирующим веществом и ремонтирует прошлое, как ремонтируют ветхий дом, заменяя гнилые доски пола и осыпавшуюся кладку новыми материалами. Ибо прошлое, дабы сохраниться, – вот великая истина! – нуждается в периодическом подновлении. Лев Бабков поднял глаза от написанного. Пенсионер спал. Лев Бабков пил холодный чай. Старик поднял голову и устремил на секретаря взор, полный тоски.

«Перепечатаю набело, слегка подредактирую», – быстро сказал Бабков.

Старик молчал и вновь старался понять, видит ли он неизвестного молодого человека во сне или наяву.

«Вы устали, – сказал секретарь, называя старого борца по имени и отчеству; это было замечательное, благородно-архаическое имя и отчество, от которого веяло грозным временем демонстраций, флагов, митингов и баррикад. – На сегодня хватит».

«Вот именно, литературная редакция, – вымолвил, наконец, старик. – Вот так мы и напишем. Я, знаете ли, не писатель и не люблю писателей. Вечно что-то выдумывают... А мы напишем, литературная редакция такого-то...»

Институт систематических исследований

Мы в центре столицы, место на удивление тихое. Скамейки, свежее выкрашенные зелёной краской, уже подсохшие, ещё не изрезанные перочинным ножиком, не исцарапанные осколками стекла, под шеренгою тополей, приглашают вечно спешащего горожанина замедлить шаг. Напротив сидящего, над зеленью кустов и деревьев, белеет в треугольной раме портала окружённый символами науки алебастровый герб.

Громоздкое приземистое здание, – сколько этих зудящих «з» прилипает к зубам, стоит лишь попытаться его описать. Странноприимный дом, позже преобразованный в приют для сирот благородного происхождения, а ещё сколько-то лет спустя – в казарму конногвардейцев. В годину обновления мира здание это служило, хоть и недолго, пристанищем для правительства, красного или белого, сейчас уже трудно сказать, оно сберегло в своих недрах воспоминания обо всех своих постояльцах, ведь строительные сооружения наделены более долговечной памятью, чем люди. Подчас эта память оказывается до такой степени неуместной, что приходится их сносить.

Судьба была милостива к бывшему дому бедности и двуглавыи славы; он пережил всё и всех. Со своим помпезным порталом, с узкими окнами невысоких двухэтажных крыльев, со следами подтёков под крышей, облупившийся дворец являл собой образ трухлявой вечности. У входа висела заржавленная табличка: «Памятник такого-то века, охраняется государством». Надписи, наца-

рапанные нашими предками, угловое письмо первых пятилеток, ещё можно было разглядеть на поддерживающих портал слоновьих колоннах.

Можно было, не напрягая воображение, представить себе, как по ночам, после того как напяливались чехлы на пишущие машинки, запирались нестораемые шкафы с архивами и последние сотрудники покидали здание, представить себе, что здесь начинается или, лучше сказать, продолжается другая жизнь. По скрипывали половицы, шныряли мыши. С тихим стоном отворялись двери покоев, и тени вышагивали из-за пыльных портьер. И водил руками дирижёр в съеденном молью фраке перед беззвучным оркестром в зале заседаний, откуда каким-то образом исчезли ряды стульев, трибуна докладчика и стол для президиума. Вместо них кружились, кланялись, приседали друг перед другом силуэты соперниц, врагов и влюбленных, а в приемной, где днем восседала неприступная секретарша, за дверью, запертой на ключ, на диване просителей тень кавалергарда лишала невинности благородную сироту. Между тем в кабинете Директора решались судьбы мира. Вождь революционных масс склонял голый череп, похожий на глобус, над планом осажденного города. Все это мы уже где-то видели, пробормотал Лев Бабков. Потянувшись, он встал со скамейки. Чем чёрт не шутит, сказал он себе, – была, не была!

В вестибюле, в особого рода стеклянном кубе, стоял человек в кителе без погон, невзрачно-значительного вида, но вместо того, чтобы потребовать пропуск, поспешно встал, стащил с головы форменную фуражку и поклонился вошедшему. Счастливое недоразумение, многообещающее начало. Лев Бабков величественно кивнул плюгавому человеку и прошествовал мимо, не имея представления, куда он направляется. В просторном холле висели на стенах мраморные доски с именами ведомственных знаменитостей и павших бойцов, впереди – парадная лестница, каменные вазы с цветами и бюст Директора в академической ермолке. Посетитель остановил свой взгляд на пышных усах под мясистым мраморным носом.

Задержимся и мы ненадолго на этой подробности: без преувеличения можно сказать, что усы представляют собой культурно-исторический феномен исключительного рода, служат рекламой эпохи не хуже, чем ордена, мундиры и надгробные памятники. При этом усы и нос образуют единство, усы не существует без носа, как нос, в сущности, невозможен без усов. Правда, некоторые эпохи не знали усов. Однако безусие само по себе есть знак, говорящий о многом, точнее, об отсутствии многого. Цивилизация знает несколько сот моделей усов, различаемых по длине, густоте, фасону и цвету.

Новое время породило национально-патриотические образцы; в альбоме усов (если представить себе такое пособие для историков и брадобреев) найдут себе место вислые, цвета гречихи, украинские усы, ржаные великорусские усы, прямолинейные нестигаемые усы Кастилии и Арагона, эфиопские усы с колокольчиками, балканские усы, похожие на крендель. Усы независимости, усы свободы, усы национального возрождения и возвращения к корням; невозможно представить себе полководца, нельзя признать легитимным монарха без растительности на верхней губе, и не случайно некоторые исторические модели

носят имена великих людей: таковы военно-полевые усы Карла XII, дуговые, напоминающие печной ухват усы кайзера Вильгельма II и метёлкообразные, длиннейшие в мире, расширяющиеся на концах усы легендарного маршала Будённого. Можно без труда показать, не вдаваясь в причины этого таинственного закона, что бритые бороды и усов влекло за собой, как правило, падение авторитетов и кризис власти. Вождь партии и народа – без усов? Нонсенс.

Посетитель рассудил, что не стоит подниматься по лестнице, пока привратник не одумался, и свернул наугад в один из двух коридоров, выходящих в вестибюль. Здесь чувствуешь себя уверенней. Длинный, плохо выметенный коридор был освещён тусклыми светильниками, ничто не давало знать о том, что на дворе весна, времена года исчезли, стояла тишина, за рядами дверей с поблескивающими табличками шла работа. Лев Бабков находился в одном из крыльев бывшего странноприимного дома; внутри здание оказалось обширнее, чем выглядело снаружи. По узкой боковой лестнице он взошёл на второй этаж. Такой же коридор, но почище; опять таблички с перечнем сотрудников, а там и отдельные фамилии с инициалами, буквы крупнее, солидней таблички, да и двери другого качества. Опытному глазу вид двери скажет не меньше, чем всегда: кладбище – вид и размер надгробий; одно дело фанерованная дверь, другое дело дубовая, одно дело картонка и совсем другое – вывеска чёрного стекла с должностью, научным чином и фамилией того, кто обитает, словно в склепе, в своём кабинете; если же вход обит дерматином, с золотыми шляпками гвоздей и кожаными жгутами крест-накрест, о, тогда трудно даже вообразить, кто помещается за этой дверью.

Здесь, на втором этаже служебные помещения находились лишь с одной стороны – комнаты младших и старших научных сотрудников, консультантов, экспертов, приёмные и кабинеты начальств, – напротив шла череда окон, как уже сказано, небольших, но всё же дававших достаточно света. Вдали маячила праздная фигура: человек курил, полусидя на подоконнике.

Бабков, в принципе некурящий, точнее, курящий по обстоятельствам, счёл возможным попросить разрешения прикурить.

«Ищете организационную комиссию? – спросил человек. – Они переехали в другое крыло. Прямо и направо через переход. Но сначала, – прибавил он, – надо отметить в секретариате».

Бабков спросил, а где секретариат.

«Как где, – удивился человек, спуская ногу с подоконника, – вы же только что мимо него прошли».

Он поглядел на посетителя и спросил:

«Вы что, только что приехали?»

«Боялся опоздать. Пришлось оставить вещи в камере хранения. Я даже не знаю, где буду ночевать».

«На этот счёт можете не беспокоиться. Они устраивают всех делегатов в прекрасной гостинице. В «Космосе», – подмигнув, сказал он. – Вам как провинциалу это название ничего не говорит, но будьте спокойны: первый класс».

Лев Бабков поблагодарил за информацию, рассеянно оглядел коридор, незначай расстегнул макинтош.

«Ух ты», – восхищённо сказал человек на подоконнике, увидев на пиджаке дядины ордена.

«Так, э... в секретариате?..» – проговорил Бабков.

«Постойте, – сказал человек и поглядел по сторонам. – Я вам скажу по секрету... У меня нет мандата, а мне надо до зарезу, понимаете, кровь из носа, быть на торжественном заседании. Вы даже не представляете: будет чёрт знает что. Старику исполняется не то восемьдесят, не то девяносто, даже говорят (это я вам по секрету), ещё больше. Считается, что восемьдесят, а на самом деле... чу-ете?»

«Да что вы, – вяло возразил Бабков, – не может быть».

«Вот ей-богу! Сам слышал».

«Как же он... в таком возрасте...?»

«Руководит? Ого! Х-ха... Сразу видно, что вы нездешний. Тут такие вопросы, знаете, задавать не положено. За такие вопросы могут и из института попереть. Да он ещё сто лет просидит, ему сносу нет! Послушайте... я понимаю, что нехорошо лезть со своими просьбами к незнакомому человеку, но поверьте, сам не знаю – как-то вдруг проникся к вам доверием. Флюиды какие-то! Кораблёв», – сказал он сурово и протянул ладонь.

«Бабков, – неуверенно представился Лёва, решив было сматываться, но вместо этого спросил: – А что, собственно... чем я могу вам помочь?»

«Да очень просто; и ничего от вас не требуется. Вот вы сейчас отметитесь в секретариате, потом пойдёте регистрироваться в оргкомиссию. Я туда уже заглядывал, уверяю вас, там сидят одни дебилы. У вас такой вид... они вас даже не будут спрашивать. Так вот, будете регистрироваться и скажете: со мной мой личный секретарь. Сигизмунд Петрович моё имя... а тебя как?»

«Лев».

«Ух, ты... а по батюшке? Ладно, Лёвой будем звать. А меня Муня. Так вот, так и скажешь: со мной личный секретарь Кораблёв. Дескать, не будете ли возражать, если я возьму его с собой на торжественное открытие. И всё. А если они скажут, а где же ваш секретарь, скажешь: на вокзале сдаёт вещи в камеру хранения, там очередь большая... Что-нибудь такое в этом роде. А потом проведёшь меня в зал. Мне больше ничего не надо».

«Хорошо, я подумаю».

«Чего тут думать. Иди, а то они на обеденный перерыв уйдут, – сказал Кораблёв, посмотрев на часы, – я тебя тут подожду. Слушай, Лёва. Я умею ценить услугу. Ты не думай, что я так. Отблагодарю».

Лев Бабков сделал неопределённый жест.

«Понимаю, всё понимаю! Сходим в ресторан, ты как? Лады? Я тебе покажу, как тут люди живут. Кого-нибудь прихватим. У меня есть одна знакомая цыпочка, м-м!» – и он поцеловал кончики пальцев.

У врат царства

«Приёмные часы окончены», – отчеканила секретарша, слишком занятая делами, чтобы вдаваться в объяснения или хотя бы взглянуть на вошедшего; трубка телефона, утонувшая в её локонах, шептала, требовала, умоляла; другой аппарат дребезжал на столе; свободной рукой она листала что-то, смотрелась в зеркальце, слюнявила пальчик и поправляла бровь. «Нет, – сказала она. Трубка не унималась. – Вам сказано русским языком: нет». Что-то записала, бросила трубку на вилки телефона, приподняла и прочно посадила на место вторую трубку, захлопнула блокнот и сунула зеркало в сумку. И лишь после этого, распрямив утомлённый стан, обратила на посетителя фарфоровые глаза.

В эту минуту на столе раздался шорох, словно кто-то зашевелился под бумагами, голос из недр проскрипел что-то. Девушка вспорхнула и простучала каблуками мимо сидевшего на диване человека без биографии. Несколько минут спустя она вышла из высоких дубовых дверей, поправляя локон, на ней было короткое лёгкое платье со скромным вырезом, тесное в лифе и почти неправдоподобно узкое в талии, с юбкой клёшем, которая колыхалась, по моде тех лет, на пенном кружеве нижних юбок. У неё был вид женщины, которую только что поцеловали.

«Чего вы ждёте, – сказала она, – я же вам объяснила».

«Жду вас», – возразил Бабков.

«Мешаете работать».

Она снова устроилась со своими пышными юбками за столом, сунулась в сумочку, и снова задребезжал телефон.

«Вам русским языком говорят, – промолвила она не то в трубку, не то сидящему на диване, – Директор не принимает».

«Я не к Директору. Я к вам», – сказал Бабков, задавая себе вопрос: если снять платье и юбки, то что бы осталось? Гора кружев на ковре и сидящее за столом полупрозрачное ничто в отливающих янтарём локонах. Задача женского наряда – не столько показать то, что есть, сколько воссоздать то, чего нет.

«Я могу подождать, – добавил он, – у меня есть время».

Зазвонил телефон. «Институт, – сказала она. – Да. Нет. Я вам уже объяснила. – Бабкову: – Мешаете работать!»

В приёмную вступил тучный человек, одетый с иголочки, с эмалевым значком на лацкане пиджака, в обширных брюках из дорогого материала, в очках из карельской берёзы. На мгновение, пока дверь открывалась, там мелькнуло лицо Кораблёва с вытянутой шеей. «Людочка!..» – сочным голосом возгласил осанистый человек. Лев Бабков уселся поудобнее на кожаном диване, заложил ногу за ногу в брюках, отутюженных Анной Семёновной, развесил полы макинтоша.

«А я к вам по деликатному делу!»

«Вы всегда... – Зазвонил второй телефон. – Нет», – сказала она брезгливо.

«А я к вам... Как бы это мне на одну минутку», – ворковал человек в берёзовых очках.

Услышав, что к Директору нельзя, он вскричал плаксиво:
«Как же так, вы мне утром обещали!..»
«Директор в Академии».
«Да я сам только что из Академии!»
«Вот и поезжайте туда. Может, там его поймаете».
Толстяк ломал руки, метался по приёмной.
«Ну что вы скажете? – обратился он к сидящему. – Когда я точно знаю, что Директор здесь! Вы, наверное, тоже ждёте? Вы из Свердловска?»
«Да, – сказал Лев Бабков, – я из Свердловска».
«Боже мой, мы вас давно ждём! Послушайте... Бог с ним, я могу заглянуть попозже... А сейчас вы должны идти со мной. В мой отдел... Вы даже не можете себе представить, как мы вам рады!»
«Обязательно, – сказал Бабков. – Непременно. Но не сейчас».
«Понимаю, понимаю... А кстати, как там Феодосий Лукич? Я хочу сказать, как с этой злополучной диссертацией? Вы должны войти в наше положение, – человек понизил голос, – мы были вынуждены. При всём уважении. Феодосий Лукич, можно сказать, глава целой школы, у него десятки учеников... Но целый ряд вопросов, важнейших, принципиальных вопросов – вы понимаете, о чём я говорю, – нуждается в уточнении, в принципиальной оценке...»
«Да, но знаете ли...» – сказал Бабков.
«Разумеется! Разумеется, это не окончательный ответ».
«Вот именно, – сказал Бабков, подняв палец. – Вот именно, не окончательный».
Секретарша говорила, держа трубку. Донеслось: «Я вам объясняю. Русским языком...»
«Ну, не буду вам мешать... Помните: мы вас ждём!»
Из-за гардины неожиданно выставилась человеческая фигура. Кто-то висел в воздухе за окном, рабочий карабкался по приставной лестнице. Там вешали лозунг по случаю юбилея. Секретарша пожала ватными плечиками.
«Не понимаю, на что вы надеетесь».
Вновь зашуршал невидимый аппарат, загробный голос провещал нечто. Людочка сорвалась с места и исчезла за тяжёлой дверью. Посетитель встал. Он подошёл к столу и бегло ознакомился с бумагами. Кто-то приоткрыл дверь в приёмную, это опять показалась вопросительная физиономия Кораблёва. Лев Бабков молча указал на дубовую дверь. Кораблёв важно кивнул и пропал. Посетитель уселся на диван. Посетителю чудились неясные звуки в кабинете, голоса или, вернее, её голос. Люда выбежала из директорского святилища с пылающим лицом, утирая что-то под глазами, взлетели кружева, она плюхнулась за стол. В приёмной стало сумрачно: половину окна загородила огромная доска лозунга.
Секретарша пудрила щёки и лоб, пристроив зеркальце к телефону.
«Не надо огорчаться, – сказал Лев Бабков, – всё бывает».
«А, чтоб тебя...» – пробормотала она, глядя с ненавистью на дребезжащий аппарат. Лев Бабков подошёл к столу и взял трубку.

«Секретариат Института систематических исследований, – сказал он, и его голос приобрёл тот необходимый тембр, который заставляет людей насторожиться. Шёлковая перчатка, в которой держат клинок. – Чрезвычайно сожалею. – Он смотрел на Людмилу. – Директор руководит совещанием и в данный момент не может с вами говорить».

Трубка осведомилась, с кем она разговаривает.

«Зам ответственного секретаря по организационной части. Сожалею».

Трубка не унималась. Людочка открыла рот. Бабков сказал:

«Изложите вашу просьбу в двух словах, она будет передана по инстанции. Сочувствую вам и всемерно готов содействовать. Невозможно. Нет. Да. Председатель Учёного совета тоже на совещании. Можете катиться к чертям собачьим». Последние слова были, очевидно, произнесены a parte. Трубка старинного аппарата с изогнутым раструбом микрофона плюхнулась на вилки.

«Я занята! – крикнула Людочка раздражённо, когда дверь в приёмную вновь приоткрылась. – Не видите – у меня посетитель. Слушайте, – пробормотала она, – как вас, и вообще, кто вы такой... Я же вам сказала. Он вас не примет. И к тому же его, наверное, уже нет. У него там, – сказала она, – есть другой выход».

«Но я не к нему; я к вам».

«Ко мне? – переспросила она, как бы просыпаясь в лёгкой тревоге. – Послушайте... И вообще».

Это «вообще», слово-протей, могло быть знаком неприятия, презрительного удивления, эквивалентом поджатых губ или поднятых бровей, могло означать и уступку, но главным образом указывало на общую температуру разговора. «И вообще!» – сказала Люда, окончательно овладев собой, поднимая на собеседника эмалевые глаза. Крошки чёрной краски висели на ресницах.

И в ту же минуту (мы должны представить себя на её месте) она почувствовала перемену, заработали бесшумные генераторы пола. В тайных глубинах тела яичники впрыснули в кровь дозу женского гормона. Если можно было уложить в короткий вопрос некоторую общую мысль, проплывшую, как корабль, в её мозгу, то этот вопрос – вполне однозначный при всей своей неопределённости – звучал бы так: а почему бы и нет?

«Директор на совещании, – отчеканила секретарша. – Позвоните позже».

Положила трубку.

Кораблёв просунулся в дверь.

«Муня! – строго сказал Бабков. – Займись своим делом. – Он объяснил: – Это мой человек».

После короткой паузы:

«Так вот. Я бы хотел поступить на работу».

«Да? – сказала она иронически. – Интересно».

«Я бы хотел поступить к вам в Институт».

«Обратитесь в отдел кадров».

«Но меня там никто не знает».

«Я вас тоже не знаю, – заметила она. – Вы хотите подавать на конкурс?»

«Может, вы мне что-нибудь посоветуете?»

«Безобразие, – сказала она. – Совсем загородили окно. Что же я могу посоветовать?»

«Может быть, вы подскажете, на какую должность мне лучше всего подавать. Я могу работать кем угодно. Мне всё равно, кем работать. А если между нами, то я бы хотел просто числиться».

«Просто числиться».

«Ну да».

«И получать зарплату».

«Почему бы и нет?»

«Многого хотите».

«Уверяю вас, совсем немного».

«Почему именно в наш Институт?»

«Потому что, – он улыбнулся, – я хочу быть возле вас».

«Мне кажется, вы чересчур самонадеянны». Эта фраза казалась вычитанной из книжки. Весь диалог напоминал пародию на разговоры в романах. Жизнь гораздо чаще пародирует литературу, чем наоборот. Во всяком случае, было очевидно, что разговор шел не о том, о чём он шел; или, по крайней мере, не только об этом.

Но в конце концов, – такая мысль не могла не придти в голову Лёве, – в конце концов, не была ли вся эта сцена отражением какого-то общего закона, по которому все, что текло на поверхности, делалось и говорилось, было мнимостью? Настоящая жизнь, как подземные воды, струилась и пробивала свой извилистый путь в неисследимых потёмках.

«Должность... – сказал он, – должность подберите мне сами».

«Вы и на фронте были, когда ж это вы успели?»

Лев Бабков взглянул на свои ордена.

«Я сын полка, – сказал он, – воспитывался под свист пуги и грохот снарядов. Я кандидат исторических наук, то есть, собственно говоря, любых наук...»

«Но позвольте».

«Шучу, конечно. А может, и не совсем шучу. Я литературный секретарь старейшего члена партии, мы работаем над его мемуарами. Вас, вероятно, интересуют мои документы – пожалуйста».

«Да зачем мне ваши документы, я вам и так верю».

«Когда мне придти?»

«Документы сдадите в отдел кадров».

«Я хотел прежде показать вам. Вот если бы вы замолвили за меня словечко перед Директором».

«Знаете что, – сказала она неуверенно, – я не могу так много времени тратить на одного человека. Там другие посетители ждут».

«С посетителями мы в два счёта справимся. А насчёт того, что верю – советую вам быть осторожней. Вы даже не представляете себе, сколько вокруг ходит шарлатанов. Документы могут быть поддельными. Вот видите: диплом. Ведь эту печать ничего не стоит перепечатать. Перенести с одного документа на другой, вот и всё. Подпись замазывать пара пустика».

«Это вы так говорите, потому что сами никогда не подделывали... – Она поглядела в окно. – Да что это, в самом деле. Что ж, я так и буду сидеть целый день при электричестве?»

«Одну минуту».

Лёва водил пальцем по списку телефонов, пока не остановился на нужном номере.

«Этот?»

Секретарша пожала плечами.

«Попрошу начальника конторы», – произнёс он голосом, в котором вновь почувствовались бархат и латы. Несомненно, акустика этого голоса заключала в себе больше смысла, чем то, что он собирался сказать. Мягкий и переливчатый, грозно-ласкающий, этот голос производил больше впечатления на женщин, чем на мужчин. Но что он собирался сказать? Лев Бабков положился на вдохновение.

«Попрошу начальника конторы... как его, кстати?.. Товарищ Лукульченко. С вами говорит уполномоченный министерства... я нахожусь в кабинете Директора Института системных исследований».

Последовавший за этим монолог не требует пересказа; раздавались слова: «безответственность», «халатность», «немедленно», «безотлагательно» и под конец совсем уже неуместное выражение «сукин сын, ты у меня наплачешься».

«Людочка, – кладя трубку, сказал Лев Бабков, – я совершенно уверен в том, что меня привела к вам судьба».

Загадочные ущелья прошлого

Бабков, сообщивший Анне Семёновне, что он поступает (или уже поступил?) на работу в Институт и даже беседовал с самим Директором, разумеется, прихвастнул: немногим удавалось лицезреть Директора, не говоря уже о том, чтобы получить аудиенцию. Разве только увидеть поутру перед домом с гипсовым гербом и символами науки директорский экипаж, – между тем как «сам» уже допивал у себя наверху в кабинете первую чашку тибетского чая.

Тому же, кто не поленился бы встать пораньше, возможно, посчастливилось бы наблюдать, как длинный чёрный автомобиль выворачивает из переулка и, урча, взбирается задними колёсами на тротуар, к ступеням портала.

Растворились задние дверцы. Старец – снежно-белые усы, мясистый нос и академическая шапочка-ермолка – выехал в кресле спиной вперёд, был подхвачен двумя молодцами, пронесён мимо вахтёра, стоявшего навтыжку, с фуражкой перед грудью, возле стеклянной клетки. Лифт стоял наготове под присмотром специально приставленного для этой цели научного работника в чине кандидата; кресло с усами и ермолкой поехало наверх, там встречали сотрудники и благоухающая, как сама весна, секретарша.

Директор сделал знак остановиться, чтобы поцеловать руку у Людочки, замахал руками, давая понять, что не нуждается в посторонней помощи, сам выбрался из кресла и с удивительной бодростью, с приветственным жестом, словно премьер, удаляющийся за кулисы, проследовал через приёмную в кабинет. Свой рабочий день Директор Института начинал, как уже упомянуто, с тибетского чая, дарующего долголетие. Директор не упускал случая рекомендовать чай своим сотрудникам. Он повторял чаепитие в полдень при прохождении солнца через полюс эклиптики и при восходе верхнего рога луны. По сведениям, которые мало отличались от легенд, он не употреблял мясо и молоко, а также избегал растительных, мучных и иных продуктов, за исключением сухих семян. Директор был сед, сух, мал росточком, что, как известно, тоже способствует долгожительству. Обыкновенно он не покидал рабочий кабинет до позднего вечера; случалось, оставался на ночь и бодрствовал при свечах, в память об одном событии своей жизни; бывало и так, что кабинет вдруг оказывался необитаем, и только голос шефа, столетний замогильный голос, шелестел на столе у Люды.

Не раз предлагалось переименовать Институт систематических исследований (носивший, естественно, имя Директора) в Академию, а именно, Академию усовершенствованной истории, для чего имелись веские основания. Выше говорилось о старцах, заведующих историей. Директор сам был живым воплощением истории, но вместе с тем и её опровержением. Приводимый в справочниках год его рождения – условная дата; возраст Директора в большой мере зависел от системы летосчисления. Если в соответствии с григорианским календарём он считался глубоким стариком, то по ламаистскому счёту был мужчиной в расцвете лет. Директор был одновременно дряхл и прочен, казался глубоко погружённым в склеротическое полубодрствование и при этом удивительно чувал своим крупным губчатым носом перемены ветра, веющего с руководящих верхов. Сребровласый и розоволицый, при своём малом росте напоминающий экзотический гриб, он почти составлял единое целое со своим креслом, – и, тем не менее, регулярно, хоть и нечасто, к изумлению персонала, его видели гуляющим по Институту, он заглядывал в кабинеты заведующих отделами, отпускал комплименты молодым лаборанткам и демократически желал доброго утра уборщице. По неписаному закону страны каждую сферу государственной деятельности возглавлял феодальный старец, заслуженный, несменяемый, украшенный орденами и обременённый должностями; таков был в своей вотчине и Директор. Незачем пояснять, что этой вотчиной была история.

Можно ли доверять имеющимся сведениям? Неконгруэнтность календарей – лишь одна из трудностей, с которыми сталкивается биограф. Вообще же следует знать, что исторические сведения достоверны в той мере, в какой они не противоречат легенде. По крайней мере, так обстояло дело с биографией Директора. Будущий реформатор истории появился на свет в прошлом веке. Считалось, что он происходил из дворян Новгородской губернии. Его рождению предшествовал приезд немолодого барина, впервые за много лет, в одно из своих владений, где он познакомился с пятнадцатилетней крестьянкой. Не раз

замечено, что подобные встречи приводят к совершенно необычным результатам.

В памятную весну 1874 года (нам придётся всё же держаться общепринятых дат) среди нескольких тысяч молодых людей, замысливших просвещать народ о его бедственном положении, находился будущий Директор; в одежде мастерового, с подложным паспортом он сошёл с поезда на глухом полустанке и на другой день был арестован исправником по доносу хозяина избы, который пустил к себе ночевать юного пропагандиста. Таково было начало революционной карьеры Директора. Выйдя (через три года) на волю, он участвовал в заседании, на котором было постановлено изменить методы борьбы. Отныне кинжал и самодельная бомба должны были сменить слово убеждения. Ходили тёмные слухи, что террорист, заколовший в Петербурге на улице, среди бела дня, начальника жандармского корпуса, был не кто иной, как он, будущий Директор. Это было тем более удивительно, что предполагаемый убийца был мал, как ребёнок, а шеф жандармов – великан трёхаршинного роста. Несколько времени спустя Директор был задержан на курляндской границе с чемоданом литературы. В столице был убит император. Близость будущего реформатора науки к заговору не вызвала сомнений. Вместе с другими Директор был приговорён к повешению. В конце марта этого памятного года, спустя четыре недели после того, как взрыв разнёс в щепы государеву карету, разметал лошадей, смертельно ранил бомбометателя и оторвал ноги монарху, одиннадцать террористов, признанных пособниками, были помещены в каменные гробы Алексеевского равелина. Среди них будущий Директор; эшафот был заменён пожизненным одиночным заточением, мгновенная смерть – медленной.

Такова была история его жизни вплоть до порога, за которым осталась молодость. Когда Директор вышел на волю, – ибо он всё же вышел, – он был глубоким стариком. Неизвестно, сколько лет в точности он провёл в каземате; во всяком случае, это была уже другая эпоха, другое столетие стояло на дворе, поколение успело сойти со сцены, род пришёл и ушёл, как сказал Экклезиаст. Важно, однако, отметить, имея в виду наше дальнейшее изложение, что время узника и время за воротами цитадели протекало неодинаково.

Вернёмся к этим десятилетиям: довольно скоро заключённого постигла обычная судьба обитателей равелина; признаки помешательства появились на второй год. Солдат, приставленный для топки печей в трёхметровых, старинной кладки, стенах между кельями арестантов, доложил, что за дверью 10-го номера слышны бессвязные речи, пение; в полутьме узник передвигался от стены к стене на распухших, похожих на брёвна ногах. Когда много позже, после смуты Пятого года, частично были преданы гласности бумаги департамента полиции, в них обнаружился любопытный документ, лекарское свидетельство, поданное по команде на имя коменданта крепости. Тюремный врач докладывал о кончине номера 10 от цинги, скоротечной чахотки и общего истощения. Оставалась, правда, некоторая неясность относительно имени того, кто содержался под № 10. Имена могли быть перепутаны, впоследствии же вовсе потонули в бумагах. Были предприняты, в том числе самим умершим, в более поздние годы

попытки опровергнуть факт смерти, но, как уже сказано, это было другое время.

Это был некий знак. Упомянутый документ может служить примером того, что имеют в виду, говоря о достоверности исторических свидетельств. Он наводит на мысль о том, что именно тогда будущий Директор приобрёл навык двойного существования на грани действительности; тогда-то и был заложен фундамент его поистине сенсационного долгожительства.

Даниил. Опровержение истории

Смена царствований повлекла за собой известные перемены. Нельзя сказать, что правление императора Александра III носило исключительно ретроградный характер: новые веяния коснулись полицейских и административных сфер. Древний рavelин, иначе называемый Секретным домом, был признан негодным за ветхостью. Новая тюрьма была воздвигнута на уединённом острове Ладожского озера за стенами крепости, которую венчал золотой ключ, этот двусмысленный символ открытия и затвора. На четвёртом году заключения террористы, закованные в кандалы, были перевезены на остров. Из одиннадцати осталось в живых четверо, двое из них были безумны. Один узник вскоре был казнён за оскорбление, нанесённое надзирателю; ещё один облил себя в камере керосином и поджёг. После чего начальство нашло возможным допустить некоторые послабления режима. Было разрешено читать книги христианского содержания и пользоваться писчей бумагой.

Один писатель, тот, кто сам был некогда привезён в закрытой карете в крепость Петра и Павла, через мост и ворота с каменным монструозным орлом, тот, кто стоял с завязанными глазами на эшафоте, но в последнюю мину был помилован и отправлен в каторгу, записал однажды в своих тетрадях: «И Христос родился в яслях, может, и у нас родится Новое Слово». Оно родилось в Шлиссельбурге.

Под честное слово дворянина (какие, однако, были нравы! что такое честное слово?), с обещанием не предпринимать ничего недозволенного, а также учитывая примерное поведение арестанта, ему было разрешено коротать долгие тюремные вечера со свечой. И вот, читая однажды книгу пророка Даниила, как рассказывал много лет спустя Директор, он обратил внимание на рассказ о видениях, в седьмой главе, где говорится о явлении четырёх зверей из моря, и далее в главе 8-й – видение овна и козла. «Помните ли вы: овен бодал к западу, и к северу, и к югу, и никакой зверь не мог устоять против него... он делал, что хотел, и величался, – спрашивал Директор благоговейно внимавшую публику. – Какая-то, ещё неясная, мысль мелькала в моём уме... Перед моим мысленным взором возникли старинные изображения созвездий – как удивительно были похожи эти картинки на галлюцинацию пророка!»

Утомленный бдением, он уснул, положив голову на дощатый стол, и во сне эта мысль с необыкновенной чёткостью предстала ему – уже не как смутная догадка, а как научная гипотеза.

Оставалось – но это сейчас мы так говорим, на самом деле путь постижения истины не так лёгок и прям, – оставалось проверить гипотезу, сопоставив её с известными данными. Будущего Директора, по его словам, удивляло, отчего до сих пор никому не пришла в голову идея, лежащая, можно сказать, на ладони. Но такова природа открытий: лишь после того, как они сделаны, кажется, что они были просты и очевидны. Узник нуждался в учёной литературе. Следовало углубить свои – впрочем, уже немалые – исторические и астрономические познания, следовало провести параллели, найти соответствия, привести разнородные факты к общему знаменателю. Назначенный, на его счастье, новый тюремный врач снабдил арестанта, под предлогом переплётной работы, таблицами местонахождения светил на видимой части небесной сферы в определённое время и над определённым местом на земле.

Гипотеза – давно уже, впрочем, превратившаяся из гипотезы в факт – состояла в том, что видения пророка были не что иное, как расцвеченное фантазией описание созвездий ночного неба. Значит, можно было точно установить, где именно он созерцал их и когда это происходило. Согласно изречению средневекового летописца, природа не повинуется указаниям властей, *natura auctoritate decurrit*; точно так же она не следует догматическим представлениям историков. Считалось, что книга пророка Даниила написана в эпоху гонений Антиоха Епифана, во всяком случае, не позднее 164 г. до Р.Х., года смерти Епифана. Между тем картина звёздного неба, каким оно предстало созерцателю, никак не совпадает с той, которую можно было наблюдать в 164 году. В тетрадях будущего Директора, вынесенных спустя много лет, как некие скрижали, из ворот крепости Золотого Ключа, находилась звёздная карта – небо, которое видел пророк. Такое небо стояло над Палестиной в IV веке – на шесть столетий позже!

Ergo, датировка книги Даниила, а заодно и вся древняя хронология, нуждалась в пересмотре. А отсюда следовал головокружительный вывод: эпохи между третьим веком до и пятым после Рождества Христова фактически не существовало. Куда же тогда девать Даниила? Куда девать остальных пророков и весь Ветхий Завет? Гениальная фальшивка, позднейшая мистификация христианских теологов, вот единственный ответ.

Усовершенствование полным ходом

Всё требует пересмотра. Оставим сказочного Директора на пороге решающего этапа, когда он приступил к радикальному усовершенствованию истории. С некоторых пор и у нас, и за границей вошёл в моду исторический шовинизм. Раньше никто не говорил: милостивый государь, вы отстали от жизни, слава Богу, у нас на дворе XII век. Никто не кичился своей эпохой, не хвастался своим

столетием, никому не приходила в голову нелепая мысль, будто двенадцатый век или там шестнадцатый совершенней всех прочих на том основании, что он последний. Совсем иначе звучит: «Милостивый государь, мы живём в двадцатом веке». Тут уж не остаётся сомнений в том, что мы прогрессивней всех и наш век – вершина истории. Между тем и он догорает, и даже эти записки, может статься, не будут доведены до конца, прежде чем придётся штурмовать новый пик.

Так как всего вероятнее то, чего никто никогда не ждёт, – любопытный парадокс теории вероятности, – можно предполагать, что даже сравнительно близкие потомки найдут в катакомбах нашей эпохи нечто такое, о чём мы и слыхом не слыхали. Для этого века будет придумано непостижимое название. Венцом и вершиной истории он, конечно, не будет. Но кто знает, может быть, к нему отнесутся снисходительней. Чего доброго, он станет именоваться добрым старым временем, станут говорить: как тепло, как уютно тогда жилось! Наш век будет исчерпывающе объяснён с помощью какой-нибудь безумной теории. Его уложат, как в саркофаг, в какую-нибудь недоступную нашему разумению классификацию. Но и этого мало: не исключено, что он будет объявлен, в результате самоновейших исследований, никогда не существовавшим. Отнюдь не исключено!

Нас ожидает двойное небытие. Мало того, что мы умерли, мы никогда и не жили.

Рассказывают, что один профессор философии, наш знаменитый современник, начинал свои лекции об Аристотеле фразой: «Он был рождён, трудился и умер». Вообразите же самочувствие Стагирита, которому объявили, что он никогда не рождался. Что он не жил, не учил, ничего не написал, все его трактаты, и Органон, и Этика, и Политика, и Метафизика сочинены не им, а какими-то безымянными черноризцами в монастырских кельях, в ненастные ночи Средневековья. Вообразите загробный гнев и отчаяние того, на чьём камне, поверх перечёркнутых дат, стоит: *Numquam erat!*

Этот пример может дать представление о масштабах переворота, совершённого Директором Института систематических исследований: историю пришлось укоротить, как штаны. Шесть столетий отправились в мусорную корзину, и вместе с ними ухнула в тартарары изрядная доля классической древности. Возвышение Рима, эллинизм, Афины и Александрия, *Pax Romana* и роскошный закат Империи – ничего этого не было, всё оказалось продуктом гениальной фантазии, античные классики – псевдонимами безвестных монахов, скромно именовавших себя копиистами. Переписчиками никогда не существовавших оригиналов. Собралась в складки вся новозаветная история, евангелия – о чём, впрочем, давно уже подозревали – были сочинены задним числом. Распятый окончательно превратился в легенду, и от первых веков христианства ничего не осталось. Само собой разумеется, что с потерей шести веков подлежало ревизии всё дальнейшее летосчисление.

Со временем открытие Директора, потрясшее научный мир, нашло продолжателей, примером творческого применения реформы может служить другая

отважная попытка укоротить историю, предпринятая на сей раз не в нашей отсталой стране, а на просвещённом Западе. А именно, похерить промежуток от VII до X столетия. Тухлое время, без которого, как выяснилось, можно вполне обойтись. Как стало известно, оно было попросту выдуманно, грамоты и реликвии сфабрикованы задним числом, памятники архитектуры, какая-нибудь аахенская часовня и тому подобные, воздвигнуты позже. Чарующая скандалёзность этой выдумки сделала её неотразимой, если вспомнить, сколько людей, какие могущественные политические силы были заинтересованы в том, чтобы раздуть величие Каролингов и оправдать свои притязания на владычество в западном мире. Но каково несчастному Пипину, Карлу Мартеллу и самому Карлу Великому узнать о том, что они были мифическими персонажами и отныне уволены из истории! Поистине худшее, что может произойти с эпохой, это открытие, что её не существовало.

Но вернёмся к нашему времени, у которого, по крайней мере, есть одно преимущество: никто пока ещё не усомнился в его реальности. А до той поры, когда она будет объявлена мнимой, мы не доживём. Мифология – это кладбище истории. История – ожившая мифология. Если бы, однако, уже теперь мы попробовали подвести итог, обозреть свой век единым оком и вывести всеобъемлющую формулу, нам едва ли оказалась бы по зубам такая задача, и, конечно, не потому, что не хватает исторических материалов, хроник, грамот, архивных справок, надгробных надписей, фальсифицированных фотографий, позарাপанных киноплёнок и тому подобного. Ни одна эпоха не оставила после себя столько мусора, как наша.

Раньше было не так. Раньше можно было, благословясь, расчесав седую бороду, засветить лампаду, сесть за пульт и занести в книгу века ещё одно, последнее сказанье, можно было начертать не спеша заключительную главу – и хлопнуть книгу. Хватит ли у нас смелости сознаться, что мы утратили вкус и способность к синтезу, что навсегда потеряно доверие к великим историческим повествованиям, к «наррациям»? Можно ли утверждать, что законы истории, уроки истории, опыт прошлого и как там всё это называется – суть не более чем наррация, по-русски говоря, басня о том, что было и чего не было, а точнее, никогда не бывало? Оставим этот вопрос без ответа.

Дело в том, что число достижений, притязающих на роль «решающих факторов», так велико, что невозможно предпочесть одно, не воздав должное другому. Мне скажут: век автомобиля, а я отвечу – век противозачаточных пилюль. Кто-нибудь выкрикнет: расщепление атома, а я ему: тайная полиция, стукачи, концентрационный лагерь. Кто-нибудь шлёпнет об стол козырным тузом – рок-музыка! А мы его другим тузом: газовая печь! – Компьютер! Космические полёты! Генная инженерия! – Ответом будет гробовое молчание. Потом кто-нибудь осторожно вякнет: а терроризм? Кто-нибудь подведёт итог, дабы положить конец всем спорам: окончательная победа общества и государства над человеком. И мы опять ничего не ответим. Мы только подумаем: какой неслыханной виртуозности, какого совершенства достигло искусство маленького человека вести образ жизни улитки, скрываться в щелях, лавировать посреди утёсов

бюрократии, ночевать в укромных углах цивилизации, прятаться, увиливать, вовремя ускользать, сматывать удочки, существовать не существуя и, живя, делать вид, что тебя нет.

Наше отступление затянулось, читатель волен его пропустить. Как сказал вагонный сказитель: кому неинтересно, пусть читает газету.

Национальная муза

А вот и он – в солдатской пилотке, в шинели без хлястика.

Идти в толпе, смотреть в спину женщинам. Мимо слепых опустевших вагонов влачиться в стуже и шорохе шагов, в неслышном шелесте, электромагнитном поле мыслей. Идти и смотреть на их плечи, удручённые грузом забот, на ноги женщин, на эту, на её чулки, овал её бёдер, пытаться ступить с ней в ногу, слишком мелкие шажки, мечтать и угадывать, кто она, обогнать, взглянуть искоса и разочароваться. Но где же сказитель? Лев Бабков потерял в толчее пассажиров вагонного барда. Толпа редет. Увидел его далеко впереди; несколько времени шагают рядом.

Человек отверз уста: «Чего надо?»

В ногу, не глядя друг на друга.

«Который раз встречаю тебя в вагонах».

«И я тебя; чего надо?»

«Хотел познакомиться...»

«Мало ли чего ты хотел. Ты кто такой?».

«Трудно сказать», – ответил Бабков, и оба направились через площадь под эстакаду железной дороги, к зданию фабрики «Большевичка».

«Ты кто такой, отзынь», – сказал Георгий Победоносец.

Лев Бабков остановился.

«Слушай, – сказал он. – Чем травить желудок в этой поганой столовой, пошли лучше к тебе, харчи я куплю. Я, – сказал он, – твою балладу слушаю по три раза на неделе».

«Нравится?»

«Ты большой талант».

«Это мы без тебя знаем».

«Но извини меня, публика начинает скучать. Сколько можно? Там ведь народ – почти одни и те же люди. Пора обновить репертуар».

«А ты мне не указ. Репертуар... Да ты кто такой, чтобы мне советы давать?»

Подумав, он спросил:

«Ты что, мне завидуешь? Сам, что ли, хочешь выступать?»

Попугчики остановились в некоторой неуверенности перед продагом. Сказитель осторожно заглянул в магазин и увидел, что Лев Бабков стоит в очереди перед кассой. Сказитель прогуливался по тротуару. Бабков вышел с бутылками и кулками.

«Ты, едрёна вошь, откуда знаешь, что я тут живу?»

«Что значит – едрёна вошь? – спросил Бабков. – Что это вообще за язык? Прощаю тебе твою грубость из уважения к твоему несравненному дару...»

«А всё ж таки: откуда узнал?»

«Я за тобою шёл как-то раз».

«Выслеживаешь?»

«Хотел познакомиться. Но как-то не решился».

Шли наверх по бесконечной лестнице, солдат открыл дверь тремя ключами. «Пелагея Ивановна! – крикнул он. – Мне никто не звонил?» Пелагея Ивановна выглянула из своей каморки. «Знакомьтесь», – буркнул сказитель. Лев Бабков галантно представился; оба вступили в комнату поэта с большим пыльным окном, неубранным ложем, с иконой над письменным столом.

«Это какой же век?»

«А хрен его знает... У одного алкаша купил».

«Твой портрет, что ли?»

«Мой, а чей же».

«Похож, – сказал Бабков. – Только ты тут слегка помоложе».

«Давно дело было».

«Да и змей... того...»

«Змей как змей. Ну чего, – сказал хозяин, – раздевайся, что ли, раз пришёл. Стихи пишешь? Молодой поэт?...» Он швырнул в угол пилотку, снял шинель, осмотрел её внимательно и повесил на гвоздик.

«Змей, конечно, апокрифический, – продолжал он. – Может, когда-нибудь и жили такие. Зоологи до сих пор спорят. Собственно говоря, моё житие было составлено в Византии, мы все наследники Византии...»

Вошла Пелагея Ивановна, женщина неопределённых лет.

«подавать, что ли?»

«подавай, – сказал хозяин. – Нет, погоди. Надо бы Кланю позвать... для симметрии».

Пелагея Ивановна проворчала:

«Далась тебе эта Кланыя...». Было слышно, как она говорит в коридоре по телефону.

«Сам понимаешь, необходимо было приблизить сюжет к нашей действительности. Усилить патриотическое звучание. На самом деле... ну, не в этом суть. Егорий – наш национальный святой. Мы его никому не отдадим».

В углу – кривоватое позолоченное копьё.

«Что же было на самом деле?» – спросил рассеянно Бабков, пробуя пальцем остриё.

«На самом деле я сам, самолично, перед тобой!»

«Это мы знаем», – промолвил Бабков и перевёл взгляд с хозяина на икону. Сказитель сказал:

«Если точнее, то Георгий убил дракона, это уже на Руси его переделали в змея... Этот дракон жил в пещере, ему бросали на съедение детей. Ну и так далее. Пока однажды не потребовал, чтобы привели царскую дочь. И тут явился

Георгий Победоносец, то есть я... Причём не сразу его убил, а сначала усмирил, сковал цепью и велел царевне вести его на цепи в город. Сам ехал сзади на коне».

«Мне этот сюжет больше нравится», – заметил Бабков.

«А мне нет. Тут нет главного. Нет идейного замысла. Просто сказка, и всё. Нет мучений. Святой Георгий – великомученик. Хотя и на этот счёт есть разные точки зрения».

«Вот как».

«Был такой римский папа Геласий, борец с язычеством. Близко к падению Рима. Так вот этот Геласий решил присвоить Георгия, объявил его западным святым».

«Это мы знаем...»

«Знаешь, да не всё. Объявил меня западным святым, хотя всем было известно, что Георгий происходил из Каппадокии. Но он и на этом не успокоился, а заявил, что мученичество Георгия – выдумка еретиков.

Дескать, на самом деле Георгий – это такой святой, чьи дела больше известны Богу, чем людям».

«И какие же это дела?»

«А хрен их знает. На самом деле, ежели хочешь знать, настоящие святые – это никому не известные святые. Они существуют, они живут меж нами, только никто о них не знает. В этом отношении папа Геласий был прав».

«Между прочим, – заметил Бабков, глядя в оконную даль, – и мы не лыком шиты. Я, например... потомок Ивана Грозного».

«Ты-то? «.

«А чего».

«Что-то по тебе не видно. Ага! – воскликнул сказитель. – Вот и бабоньки».

Симпозион. Разговоры о жизни

«Прошу знакомиться: мой ученик, молодой поэт. Э, чёрт, запомятовал, как тебя...»

«Бабков, Лев Казимирович. Научный сотрудник...»

«Надо бы, наверно, стол передвинуть».

«Разрешите, я помогу».

«Вот что значит настоящий мужчина».

«Только вот с посадочными местами у меня...»

«А мы пододвинем к кровати. Углом, углом заноси. А то тумбочка отвалится. Неси ещё табуретку с кухни».

Компания – два кавалера, две дамы – крест-накрест сидит вокруг селёдочницы с селёдкой, дымящейся картошки, а там и сырок, там и колбаска, леж в маринаде.

«Ну-с. Хо-хо...»

«Предлагаю за здоровье...»
«Со свиданьем».
«Дай Бог не последнюю!»
«Вот такие пироги».
«Где ж твои пироги, ха-ха».
«Вот такая, говорю, петрушка. Иду по перрону, а он меня догоняет. Пелагеюшка, ты чего не пьёшь?»
«Да ну её, шибко в голову ударяет...»
«Для здоровья полезно».
«Вы член Союза?»
«Собственно говоря, ещё нет. Собираюсь вступить».
«Давай, Лёва, я тебе рекомендацию дам».
«Что же вы пишете?»
«У меня задумана большая поэма. Эпическое полотно о нашей современной эпохе».
«Вот я его всё отговариваю. Что это за моды взял, таскаться по вагонам...»
«Я не таскаюсь. Я работаю».
«С разной швалью. С пьянью...»
«Поэт должен быть со своим народом. Поэт, ежели хочешь знать, – это голос народа. И неподкупный голос мой! Был эхо... Знаешь, кто это сказал?»
«Не знаю и знать не хочу».
«Да и жрать тоже надо; на стихах далеко не уедешь».
«А ты вот бери пример с Межирова. Он черножопых переводит».
«Ты, Лёва, действительно, того. Давай вступай. Я тебе помогу. У тебя уже что-нибудь опубликовано? Давай публикуй... А я, Лёва, новую программу задумал – совершенно новый жанр. Конечно, придётся сменить маршрут. Хочешь, будем вместе выступать. Примерно так: ты сначала входишь и объявляешь...»
«А о любви вы тоже пишете?»
«Обязательно. Любовь – главная тема поэзии. Я хочу написать большую поэму о любви, о том, как зарождается любовь, как постепенно два сердца начинают понимать, что они созданы друг для друга. Я хочу написать поэму об одной женщине, с которой я ещё совершенно не знаком. И которая даже не подозревает о том, что она зажгла огонь вдохновения в сердце поэта».
«Дама вашего сердца».
«Дама моего сердца».
«Интересно узнать: кто же она?»
«Я вам уже сказал: я ней не знаком. Почти не знаком».
«Тогда давайте выпьем за неё. За ваши успехи...»
«Нет, верно, Лёва. Давай вступай в Союз. Я тебе рекомендацию напишу».
«Ты лучше расскажи, как ты про Георгия-то сочинил. Надо же, до чего дошёл: по вагонам ходит. Ты бы лучше с Межирова пример брал».
«Пелагея, давай, что ли, с тобой. Ну их всех».
«Вы не договорили...»
«Клань, а Клань...»

«Вы сказали, что пишете поэму о любви».

«Собственно говоря, ещё не приступил. Это пока ещё только замысел».

«Кланя. Клавдия!» – рявкнул победитель дракона.

«Ну чего тебе. Да я знать тебя не хочу. Голь перекатная».

«Я не голь. Я член Союза писателей».

«Я хочу воспеть её всю с головы до ног».

«У меня книжка выходит в Совписе. У меня, если хочешь знать, три корзины. Первая: официальные стихи. Увидишь, я ещё Гертруду схвачу...»

«Какая такая Гертруда?»

«Герой социалистического труда. Вторая – выступления в поездах. На что-то жить надо или как? Представляешь – она меня материально больше не поддерживает...»

«Хватит, кормила паразита три года, хватит».

«Вот. Слыхали? А то, что ты поэта на улицу выгнала, заставила милостыню просить! Совесть не мучает? Я над этой балладой три года работал... Какой сюжет! А язык? Наш, русский, природный... Меня сам Твардовский похвалил! Ты, Лёва, от неё держись подальше. Она из тебя всё высосет, а потом бросит...»

«Ах ты, змей».

«Ты сама змея подколотная. Пелагеюшка, одна ты у меня осталась».

«Всё-таки надо признать. Надо отдать справедливость. Большой талант. Ничего не скажешь».

«Ну его. Вы лучше о себе расскажите».

«Я хочу...»

«Как это вы хотите. Сами говорите: совсем её не знаете».

«И третья корзина – настоящие стихи. О которых ещё никто не знает... Настоящие поэты – это неизвестные поэты. Они живут среди нас, но никто их не знает. Вы ещё обо мне заплачете... Мемуары будете обо мне писать...»

«Я шёл и смотрел на неё. Я ещё не видел её лица. Я шёл следом за ней».

«Как интересно. И что же дальше?»

«Она была невысокого роста. Я смотрел на её фигуру. Я видел, как она отводит в сторону руку при каждом шаге. Это была женская рука. Вы замечали, что женщины совсем иначе отводят руку, что она разгибается в локте совсем не так, как у мужчин. Разогнутая рука повторяет очерк бёдер. Я смотрел на её бёдра. Она шла, едва заметно покачивая станом. Твердо ступали её ноги, её мерцающие ноги в чулках, высоко открытые, зовущие... чтобы в последний момент сказать: нет, я не открою вам свою тайну».

«Ты меня слушай. Я её знаю. Нет, Лёва, правда. Давай подготовим совместный номер, навар пополам. Успех гарантирую».

«Нужен ему твой навар. Он научный работник».

«Чего там, работник. Он со мной за один день заработает больше, чем за месяц в своём этом, как его... запаматовал: ты где работаешь-то?»

«Нет, ты допляшешься. Когда-нибудь на милицию нарвёшься».

«Чего милиция. Чего ты меня милицией-то стращаешь. Я с милицией разговаривать умею. Покажу удостоверение, и отвали, я член Союза, не хер собачий. Лев, я серьёзно говорю».

Дорожные встречи

Рассматривая жизнь Льва Бабкова, пытаюсь связать её в единый узел, мы встречаемся с той же проблемой, что и в попытках обнять совокупным взглядом нашу огромную хаотическую страну. Поистине существует сходство между человеком без биографии и землёй, на которой ему посчастливилось жить.

В том, что она представляет собой единое целое, характерное целое, согласнo, кажется, большинство. То, что её скрепы проржавели, – не новость для многих. То, что она до сих пор не рассыпалась, не перестаёт быть загадкой для всех. Страна, подобная роману без фабулы, без композиции, без внутреннего развития; читаешь такой роман и недоумеваешь: на чём всё это держится?

Ссылались на географию, на эту везде одинаковую, препоясанную невысокой уральской грядой равнину. Непонятно, однако, почему на такой бескрайней равнине не возникло несколько государств. Указывали на пример гигантских сухопутных империй древности; но они давно погрузились на дно времён. Ничто из того, что считалось залогом единства нашей страны: ни общий язык, ни верховная власть, ни история – их не спасло.

Наконец, существует теория общего врага, опасная, нездоровая теория, живо напоминающая рассуждения о войне – гигиене мира. Смотрите, говорили те, кто всё ещё жил воспоминаниями своей страшной юности, смотрите, какой сплочённостью, каким сознанием общей судьбы наш народ встретил вражеское нашествие; а что теперь? Нет больше врага – нет и народа. Без внешней угрозы, пусть даже мнимой, мы не удержимся, роман нашей истории расплзётся, ибо это роман без фабулы, без внутренней логики и композиции.

В толпе спешащих к перронам граждан наш друг задавался историософским вопросом, где скрыт тот стержень, который скрепляет всё это человечество пригородных поездов. Так автор раздумывает над тем, что связывает разрозненные эпизоды его повести. Вот, думал Лев Бабков, наглядный образ народа, здесь каждый может обратиться к каждому на родном языке. Точнее, на том вокзальном жаргоне, который, собственно, и есть их родной язык. Или их держит вместе некая отрицательная сила, гравитация общего страха, общего недоверия, скрепляет, вместо того, чтобы разъединять, то, что каждый с опаской косится на соседа, ждёт подвоха от ближнего, видит в нём вечного конкурента в борьбе за местечко на скамье в тесном вагоне, и все вместе со страхом и неприязнью смотрят на новые толпы за окнами, готовые втиснуться, едва только остановится поезд? Или просто привычка всем вместе качаться изо дня в день, чувствуя плечо соседа, и сонным взглядом взирать на пролетающие поля?

Но, как однажды, много лет назад писатель земли русской сказал, что маловероятно и не может быть, чтобы такой язык не был дан великому народу, так не может быть, говорил себе Лев Бабков, чтобы расплзлась, как ветхое рубище, тысячелетняя общность, чтобы в душах людей не дремало, время от времени пробуждаясь, мистическое чувство общей судьбы, без которого ничто не сумело бы удержать их вместе: ни география, ни язык, ни угроза завоевания; не может быть, чтобы сверху на нас всех не взирал некий Глаз, подобный глазам романиста над страницами несуразного произведения. Глаз, который закатывается и восходит вновь, и глядит, глядит не отрываясь, и заволакивается слезами.

Лёву занесло в зал, служивший приютом для транзитных пассажиров, многодетных матерей, цыганок, нищих, карманных воров, женщин, поджидающих покупателя, странников, заблудившихся в огромной стране, и людей, о которых невозможно сказать что-либо определённое. И ему показалось, глядя на них, что он нашёл ответ. Только этот ответ невозможно было выразить словами.

Посреди зала возвышалась стела с огромной незрячей головой вождя. У подножья на приступке сидело некое существо, старообразный подросток в зипуне и ушанке, шея обмотана платком, ноги в ватных штанах и огромных растоптанных валенках. Злой птичий взгляд.

Что-то заставило Лёву присесть рядом.

«Ты откуда?»

Он – или, пожалуй, она – не отвечала, смотрела перед собой.

«Чего молчишь-то?»

Никакого ответа; возможно, глухонемая. Наконец, она пробормотала:

«Брата жду».

Брат должен был встретить её, но не пришёл. Бабков спросил, где живёт брат.

«В Москве».

«Москва большая, – возразил он. – И давно ты ждёшь?»

Он встал, чтобы идти по своим делам, но дел, как легко догадаться, никаких не было.

«Ты когда приехала?»

«Утром».

Он поинтересовался, откуда.

«Из Киржача».

«Где это?»

Она пожала плечами. Так прошло в обоюдном выжидании ещё несколько времени.

«Вставай, – сказал Лев Бабков. – Где твой багаж?»

Нет никакого багажа.

«А паспорт у тебя есть?»

Она помотала головой.

«Значит, ты несовершеннолетняя? В детскую комнату тебя сдать, что ли? Послушай, а может, тебе лучше вернуться домой? В этот, как его».

Вышли на вокзальную площадь, отыскивали справочное бюро.

«Как зовут твоего брата?» – спросил он, занеся перо над бланком.

Хитро-испуганные, круглые, насторожённые глаза. Поколебавшись, она ответила:

«Иван».

«Отчество, фамилия? Возраст?..» Постояли на солнышке. Голос из будки ответил: «В Москве не проживает».

«Так, – сказал Бабков. – Подытожим факты. Да ты развяжи платок, совсем взопреешь... Прибыла из Киржача, а может, и не из Киржача, кто тебя знает. В гости к брату, который не то есть, не то его нет. За каким лешим припёрлась в столицу, неизвестно».

Делать было нечего, побрели на перрон и увидели электричку, где сидело на удивление мало пассажиров.

Так дремлет недвижим корабль в недвижимой влаге. Может быть, это был поезд, идущий вне расписания. Или в депо.

Но чу!

Они услышали, как поднялась и ударилась о провод дуга.

«Плывём. Куда ж нам плыть?» – глядя в никуда, изрёк Бабков. Девчонка воззрилась на него, очевидно, спрашивая себя, кто он такой. Через минуту она равнодушно смотрела в окно. Поезд пошатывался, переходя с одного пути на другой. Несколько платформ пролетели одна за другой. Затем в вагоне появился некто. К ним подошёл нищий. Девочка обдала его злобно-презрительным взглядом. Нищий был маленький замызганный человек, мычал, показывал пальцем на картонку с воззванием у себя на груди. Неожиданно девочка выпалила: «Отзынь!»

«Ходят тут...» – проворчала она, устраиваясь поудобней у окошка. Нищий не понял, он был не только немой, но и глухонемой. Лев Бабков изучал картонку. Он помуслил химический карандаш и, поманив нищего, который собрался было идти дальше, исправил орфографическую ошибку. Немой получил положенное и двинулся к выходу. Не дойдя до дверей, он обернулся и сказал:

«С-сучка! Попадёшься мне...»

«Вали, пока по шее не заработал», – отвечала девочка скороговоркой, точно читала стихи. Таковы были маленькие попутные развлечения, скрасившие дорожную скуку. Поезд остановился, и оба вышли.

Старинный романс

В буфете на станции Одинцово официант в белом переднике встретил гостей радостно-презрительным возгласом:

«Маманя! Кто к нам пришёл!»

Никто не отозвался.

«Мамань, да брось ты там...»

Из-за перегородки появилась маманя, грузная женщина, пропела басом: «Ба-атюшки, сколько зим, сколько лет!»

«Давненько не виделись, – говорила она, вытирая ладони о крутые бока, – дай-ка я тебя поцелую. А мы-то думаем, куда подевался наш Лев Казимирыч. В Москву, небось, переехал?»

«В этом роде, – отвечал Бабков. – Ты бы нас покормила».

«А это кто ж такой будет?» – спросил официант, оглядывая подростка в валенках.

«Это моя племянница. Издалека приехала».

«Вижу, что издалека. Племянница. Ну что ж. Пущай будет племянница».

Буфет, как водится, был разделён на две половины, в зале для нечистых складывали заляпанные мазутом телогрейки в угол, усаживались за столы, лоснящиеся жиром после того, как по ним прогулялась тряпка уборщицы, в зале для чистых столы были покрыты грязноватыми скатертями, и к гостям подходил вихляющей походочкой официант с переброшенным через руку полотенцем.

«Пальтишко ваше попрошу на вешалку. Что пить будем?»

«Не будем, – сказал Бабков. – А ты нам лучше принеси этого, того...»

«Есть биточки со сложным гарниром».

«Тащи биточки».

Выбравшись из зипуна, предусмотрительно запихнув платок и шапку в рукав, она оказалась в помятом школьном платье. Первый голод был утолён с необычайным проворством. Выяснилось, что девчонка ничего не ела со вчерашнего дня.

Бабков сказал:

«Продолжим нашу беседу, на чём мы остановились? Сбежала из дому... Ты имей в виду, я могу проверить. Возьму и позвоню в Киржач. Алё, шеф. Ещё порцию... Значит, – спросил он, – Киржач тоже выдуман?»

Она кивнула и одновременно замотала головой.

«Не понял, – сказал Бабков. – Боишься, что родители узнают?»

«Какие родители», – сказала она презрительно.

«А может, она сами рады, что от тебя избавились, а?»

«Тебя как звать? – спросила, подходя к столу животом вперёд, маманя. – Я спрашиваю. Язык съела? Знаем мы таких племянниц. Много их тут таскается. Добавки хочешь? Серёжа!» – крикнула маманя.

«Она уже две порции съела», – сказал Лев Бабков.

«Сергей. Этому народу сто раз надо напоминать».

«Ты давай вот что, – сказал Бабков. – Давай договоримся: говорить правду».

Официант принёс десерт.

«Хочешь ты домой возвращаться или не хочешь?»

Она озирается, поджав губы.

«Ну что ж; поели, посидели. Скажем спасибо этому дому». Лев Бабков лезет в задний карман брюк, обхлопывает себя.

«Чуть не забыла, – сказала маманя, – дело есть к тебе... Да ладно... в другой раз заплатишь. В кои веки увиделись... Приедешь и заплатишь... Она пока тут пуцай посидит... А ты, – она погрозила девочке пальцем, – смотри у меня!»

В комнатке за перегородкой маманя втиснулась между столом и стулом, грузно опустилась. Он присел напротив.

«Спешишь, али как. Куда ты её тащишь?»

Лев Бабков пожал плечами.

«Как живёшь-то?»

«Живу».

Далее было задано ещё несколько вопросов, на которые Лев Бабков отвечал неопределёнными междометиями; впрочем, другого ответа от него и не ждали.

«Совсем», – сказала маманя.

«Что совсем?»

«Совсем, говорю, забыл меня».

Она разбирала бумажки на столе, накалывала на спицу квитанции и разнарядки.

«У тебя что, – спросила она, – кошелёк спёрли? А был ли он, кошелёк-то?.. Лёва. Чего молчишь. Ведь тебе же хорошо со мной жилось, а? Ведь хорошо жилось, признайся».

«Хорошо».

«Ну так чего? Пропал и глаз не кажешь. Хоть бы позвонил когда».

«Дела, Степанида Власьевна».

«Эва, я уж теперь Степанида; а ведь когда-то меня Стёшей звал».

«Да, Стёша», – сказал Бабков.

«Я вот смотрю на тебя...» – сказала она и остановилась.

Бабков ждал.

«Я вот что думаю, – она вздохнула. – Только ты молчи, не перебивай... Ты тут посидишь, я пойду распорядюсь. Девчонку твою мы посадим, пуцай назад к себе едет, откуда она там... Ты где её подцепил-то?»

«Нигде я её не подцепил, на вокзале сидела. Говорит, из Киржача».

«Ну вот: купим ей билет до Киржача. Я ей денег дам на дорогу... Ты пока тут сиди. А потом ко мне. У меня жильцов никого нет, цельный дом пустой. У меня вообще никого нет. Один ты у меня и остался... И заживем с тобой, как бывало. Возьму отпуск за свой счёт, а то вовсе уволюсь...»

«Стёша...»

«Что Стёша? Стёша была, Стёша и будет. Разве нам было плохо вместе? А то хочешь, поедем куда-нибудь. В Крым поедем».

Она что-то переставляла и перекалывала на столе, достала платок и гулко высморкалась. «Ты сиди, сиди...» – пробормотала она, поднимаясь. Когда Лев Бабков вышел следом за ней в зал, девочки не оказалось. На её месте сидел некто. Маманя колыхалась между столами.

«Ты чего тут расселся?» – сказала она сурово.

«А чего. Я ничего», – пролепетал человек.

«Ничего, так и ступай. С утра налился. Сергей! – крикнула маманя. – Ну-ка проводи».

«Куда, куда?» – бормотал человек, с трудом переставляя ноги.

«А вот туда», – отвечал официант.

Приключение

«Это уже что-то такое, – сказал Лев Бабков, – прямо из букваря. Луша мыла раму. Мама мыла Лушу».

Луша сидела на платформе.

«Между прочим, это имя... ведь это то же самое, что Гликерия».

Она не отвечала.

«А если бы я не пришёл?» – спросил Бабков. Он рылся в карманах.

Девочка криво усмехнулась и протянула ему кошелёк. Он хотел взять кошелёк, она отдернула руку; эта игра повторилась несколько раз.

«Слушай-ка, мне эти фокусы надоели. Катись куда хочешь. Можешь взять себе кошелёк на память».

«А немой-то, – сказала девочка. – Видал?»

«Разве это он?»

«А кто же. Он ко мне ещё в Москве приставал. Я его ка-ак двину!»

«Н-да. Ну-ну».

«О чём это вы там говорили?»

«Я остаюсь здесь».

«А я?»

«Лапонька моя, – сказал Бабков. – Поезжай, откуда приехала».

«Она старая и толстая. Таких е...ть одно мучение!» – изрекла Луша.

«Ого – а ты, собственно, откуда знаешь?»

Он сунул кошелёк в карман. «Иди купи билеты, живо», – сказал он, протягивая ей бумажку.

«Куда?»

«До Москвы, куда же».

«А мне не нужен билет». Рельсы уже слегка подрагивали, задрожали провода, и вдалеке из-за поворота вспыхнуло на солнце лобовое стекло идущего поезда.

Соблюдая молчание, оба, мужчина и девочка, отец и дочь, подросток, похожий на взъерошенную птицу с подрезанными крыльями, и тот, кому скорее подходит сравнение с обитателем мутных вод, следили из окошка за несущимися навстречу перелесками, дачными посёлками, пролетающими со стуком железнодорожными переездами.

«Ты ворожить умеешь? У тебя дурной глаз».

«Хочешь, поезд остановлю? – сказала она вдруг. – Хочешь?» Она прищурилась, втянула голову и как будто вся ушла в себя. Раздался слабый визг колёс.

Электричка вдруг стала, как будто наткнулась на что-то. Пассажиры тянули головы из оконных фрамуг. Кто-то спросил, в чём дело, и другой голос ответил: человек попал под поезд. Быстро прошёл проводник. «Хвалю», – сказал Лев Бабков. Поезд двинулся. Поезд снова нёсся вперёд, минуя полустанки.

«Тётка решила, что ты её сглазила, и прогнала тебя из дому. Верно?»

«Не её, а его, поправила девочка.»

«Кого прогнала, твоего дядю?»

«Какой он мне дядя.»

«Её муж. Но ведь это значит – твой дядя.»

«Какой муж.»

«Ну кто он там. Я что-то не могу понять. Кого выгнали: его или тебя?»

«Она с ним живёт, – сказала девочка. – А он со мной хочет. Она думает, что я его сглазила.»

«Я же говорю, вот видишь». Он спросил: кто такая её тётка?

В бакалее торгует, был ответ.

«А он?»

Луша пожала плечами. «Так, – сказал Бабков. – Значит, ты его сглазила, он плюнул на тетку и начал клеиться к тебе, правильно?»

«Никого я не сглазила. Он у нас в школе не знаю кто. То завхозом был, а теперь военрук.»

«Прости, я всё позабыл: это кто ж такой будет? Это раньше было в школе военное дело, а сейчас-то зачем?»

«А если враги нападут!»

«Угу; н-да. Ну, если уж нападут». Он спросил, что же было дальше.

«Ничего. Шла по коридору. Коридор такой в школе бывает, знаешь?»

«Конечно.»

«Мне сойти надо», – сказала она.

«Сойти, зачем?»

«Мне поссать надо, не могу больше терпеть.»

«Чего же ты молчала?» Она вышла в тамбур и переминалась там с ноги на ногу. «Далеко ещё?» Поезд нёсся вперёд. «Далеко?» – простонала она. «Я думаю, минут десять; дотерпишь? Ладно, – пробормотал он, оглядываясь, – стань в угол, только быстро, я не смотрю. А может, ты снова остановишь поезд?..» Но тут на счастье электричка замедлила ход, это был лесной безлюдный полустанок. Девочка побежала к концу платформы и спрыгнула. Лев Бабков солидно прогуливался взад и вперёд. Двери вагонов закрылись, поезд тронулся.

Погас зелёный огонь светофора, вспыхнул оскаленный красный глаз. С удивлением заметил Бабков, что не только остановка не была предусмотрена расписанием, но, по всему судя, они свернули на другую ветку. Несколько времени спустя вновь мигнуло и передвинулось око светофора. Затрепетали провода. Дальний гром прокатился по рельсам, и медленно, пыхтя, стуча, на двинулся тепловоз, потащились цистерны, платформы, погромыхивали на стыках товарные вагоны с чёрными буквами, с надписями мелом. Девочка стояла поодаль и пальцем считала вагоны. Потом сидели в пустом зале ожидания. Лев

Бабков чертил прутиком по каменному полу, Луша болтала валенками. До следующего поезда было добрых полтора часа. Она даже как-то повеселела. Это был день прививок, уроки были отменены.

«Зачем же ты осталась в школе?»

Она передёрнула плечами: осталась, и всё. Хотела тётку подразнить. Прошла мимо его кабинета, прошла второй раз, он выходит.

«Кто – он?»

«Ну он, ейный. Я иду, а он говорит... Может, походим?»

«Это он так сказал?»

«Да нет же. Может, погуляем, чего сидеть-то».

«У тебя валенки прохудились, куда ты пойдёшь».

«Я говорю, здарсьте, Игорь Степаныч. Зайди, говорит, ко мне, Луша...»

Они шагали вдоль железнодорожного полотна, по другую сторону находился посёлок, подюжины домишек, переезд, трансформаторная будка. Тропинка свернула в рощицу.

«Что он от тебя хотел?»

«Известно что. Чего мужики хотят? Можно, говорит, я дверь запру, а то ещё кто войдёт. Ну и вот».

«Что – вот?»

«Запер дверь, вот и всё».

«Зачем же ты согласилась?»

«Ничего я не согласилась».

«Я говорю – зачем ты вошла в кабинет?»

«Зачем, зачем. Вошла, и всё».

Роща превратилась в лес. Куда же мы идём, думал Бабков.

«Я говорю, только попробуйте».

«А он?»

«Левольвер вытащил. Я говорю: сейчас закричу. Кричи, говорит, сколько хочешь, в школе никого нет. Зачем кричать, мы по-хорошему. Я говорю: а тётя Валя? А мне насрать на тётю Валу, я, говорит, тебя люблю».

«До этого он ничего не говорил?»

«Так, шутил иногда. То ущипнёт, то... Я говорю: левольвер-то, говорю, учебный. Всё равно, говорит, стрелять можно. Не бойся, это я пошутил. Я, говорит, тебя пальцем не трону. Ты разденься, я хочу посмотреть, какая ты».

«Луша, – сказал Бабков, – почему же ты не воспользовалась своими способностями? Вот как ты поезд остановила».

«Поезд – это другое дело. Да я тогда, может, ещё не умела».

«Значит, он тебя изнасиловал?»

«Ну да».

«Заставил раздеваться?»

«Ну да; я же говорю».

«Раздеться, и больше ничего».

«А что, – сказала она, – мало, что ли?»

Он выбирал место, куда шагнуть на топкой дороге. Девочка шлёпала следом за ним. Пора бы уже возвращаться, думал Лев Бабков, куда же это нас занесло? Власть подробностей. Любая история становится правдоподобной, если её обставить бытовыми деталями, он знал это из собственной практики. Сюжет можно выдумать. Но обстановка, детали – всё должно быть подлинным.

Как-то раз тётя завела с ней разговор.

«Я, говорит, всё знаю. Он честный человек, он сам мне признался. Это ты его завлекла. Ты развратная – и разными другими словами, я тебя в колонию отправлю! А я говорю, попробуйте только, за растление малолетних знаете что бывает? Ну, она и заткнулась. Я, говорю, могу и похуже сделать. – Ты уже сделала, ты нашу жизнь разбила. – Я говорю: могу сделать так, что он вовсе неспособный будет».

«Навести порчу? – спросил Бабков. – Или как это там называется. Что значит неспособный?»

«Да ты что, меня за дурочку считаешь?»

«И ты так и сделала?»

«Нет, – сказала девочка. – Не сделала».

Почему, спросил он.

«Почему, почему... Потому что я его возненавидела!»

«Ты хочешь сказать, ты его полюбила?»

«Я вас всех ненавижу», – сказала она, глядя сбоку на Лёву злым птичьим глазом.

Дом (1)

Довести опыт до критической точки и в последний момент остановиться. Устоять, удержаться на цыпочках. Испытать силу воли – так, кажется, это называется. Во всём этом есть огромное искушение, соблазн, похожий на соблазн подойти к краю крыши и заглянуть вниз. И представить себе, что летишь вниз, – и отшатнуться. Она забыла сказать, думал Лев Бабков – или нарочно утаила, – что преподаватель военного дела сам подал пример: хочешь, сказал он, я тоже разденусь. Потому что и он поставил перед собой эту задачу (не очень-то сознавая её): успеть остановиться в последний момент. В удобнейший момент, когда все препоны отпали, кроме одной – запрета овладеть девчонкой. Но в том-то и дело, что это пари, заключаемое с самим собой, точнее, с вожделением, было двойным предательством. И по отношению к вожделению, и по отношению к девочке.

И сама она, за минуту до этого взиравшая на «дядю» со страхом и отвращением, почувствовала себя преданной. Само собой, никакого чувственного позыва она не ощущала. Но страх, любопытство, соблазн приблизиться к границе сходны с желанием: как и оно, они стремятся к завершению. Если бы военрук приступил к делу, она стала бы биться, царапаться, заорала благим матом. Но

когда он сказал ей: одевайся, и можешь идти, – она расвирепела. Она была разочарована больше, чем могла об этом сказать; вместо того, чтобы вкусить радость освобождения, она чувствовала себя униженной. Тогда-то она и сказала себе, что может сделать дядю «неспособным», – только такое объяснение случившемуся могло ей придти в голову.

Что-то забрезжило невдалеке, завиднелось между деревьями, и лес расступился. Это был старый дом или, вернее, дача. Они обошли её кругом. Гнилые ступеньки вели на террасу, стёкла были кое-где выбиты, заменены фанерой, ключьями свисал разбухший картон. Дверь на террасу заперта. За домом находились хибарка сторожа и хозяйственная площадка, дощатый стол, печка с плитой для стряпанья, труба водопровода с краном, всё старое, ржавое. Девочка дёрнула дверь заднего хода, пока не оторвала ручку. Лев Бабков покачивался на перекладине качелей. Вдруг затрещала рама, отскочила доска, приколоченная косо к наличнику. Луша высунулась из окна. Как она забралась в дом?

Внутри был полный разор; видимо, дачу основательно почистили. Унесено всё, что можно было унести. Лев Бабков уселся перед разбитым пианино. Луша сидела на железной кровати и стаскивала разбухшие валенки, под ними оказались мокрые чулки. Платок и зипун валялись на полу возле кровати. Она стянула с себя чулки и, голоногая, в школьном платьице, прошлась по полу. Бабков что-то подбирал одним пальцем.

Медленно поводя плечами, виляя худыми бёдрами, она прогулялась по половице. Она шла с закрытыми глазами, высоко поднимая колени, вытянув руки перед собой. Накткнулась на что-то, повернула назад, шла, покачиваясь, мотая головой. Человек, сидящий за пианино, услышал её мурлыканье. Она пела что-то сквозь зубы. Пение сменилось бормотаньем, время от времени заклинания, вздохи и всхлипы вырывались из её уст. Девочка открыла глаза. Теперь она изображала балерину, взмахнув тонкими руками, взлетела, неловко упала на носок, с трудом удержалась, снова взлетела. Лев Бабков играл на разбитом инструменте танец Маленьких лебедей. Плясунья вся тряслась, махала кистями рук. Закружилась, упала на пол, мотала в воздухе узенькими, чёрными от грязи ступнями голых ног, показывая серые трусики. Гордо вышагивала вокруг под дребезжащие звуки марша и под конец, шатаясь от изнеможения, низко и церемонно раскланялась перед пятном, оставшимся от портрета на рваных засаленных обоях.

Что есть истина?

Лев Бабков взошёл по ступенькам двухэтажного, снизу каменного, наверху деревянного дома, каких немало ещё осталось в переулках и вдоль набережных старого Замоскворечья. Хотел позвонить, но вспомнил, что в таких случаях входят, не оповещая о себе. Лев Бабков был одет как положено: чёрный костюм, тёмный галстук. Подобающая мина. Он вступил в коридор: тишина. Громко

скрипнула дверь. В комнате всё место занимал раздвинутый и накрытый стол. Люда подняла на гостя траурный взор. Молча, кивками налево и направо он приветствовал компанию, кто-то протянул ему крепкую ладонь, большинство взглянуло на него с любопытством, не зная, к какому рангу присутствующих принадлежит гость, вошедший последним. Народ потеснился. Лев Бабков оказался рядом с Людой, которая молча, с обиженно-скорбным выражением смотрела перед собой. Наступила пауза, напоминающая тот миг напряжённой тишины, когда танцевальный ансамбль, взявшись за руки, в застывших позах, ждёт, когда грянет музыка, чтобы вылететь из-за кулис. Миг ритуального ожидания перед накрытым столом, когда положено фотографироваться. И кто-то уже воздвигся в углу с аппаратом, примеряясь так и сяк.

Гость скосил глаза на Люду, её лицо было густо напудрено, на ресницах висели крошки чёрной краски, она была в чёрном полупрозрачном шёлковом платье, под которым на чёрных бретельках лифчика покоилась и дышала, как в глубоком сне, её грудь. Заметив нацеленный на неё объектив, Людочка инстинктивно выпрямилась. Дремлющие соски услышали позывные соседа. Мы находимся в силовом поле, мы сами генераторы этого поля, которое шелестит и струится вокруг нас, и его законы можно было бы описать при помощи уравнений, сходных с уравнениями Максвелла. Некогда Лев Бабков проучился два года в техническом училище, но философское образование дала ему жизнь.

Глядя в тарелку, он погрузился в размышления об этой груди, которая заметно выиграла от чёрного одеяния, подчеркнувшего природную Людочкину худобу. Поистине многое меняется от того, скажем ли мы «молочные железы», «груди» или просто грудь: от чисто функционального, служебного обозначения мы переходим к представлению о самостоятельности и тайне этих дразнящих воображение возвышений. Груди Людочки, неслиянные и нераздельные, жили независимо от той, кому они принадлежали, вернее, та, кому они принадлежали, была всего лишь их обладательницей, – по крайней мере в эту минуту, когда они дышали в нескольких вершках от его плеча. Всё, чем была Людочка, определялось тем, что у неё такая грудь.

В этих, прямо скажем, не отличавшихся оригинальностью мыслях проявилась присущая людям такого сорта диалектика двусмысленности. Как бы это выразиться? В них присутствовал эротический гамлетизм, который предпочитает думать о женщине, по возможности держась от неё на некотором расстоянии. Нельзя постигнуть истину, приблизившись к ней вплотную. Лёва предпочёл бы сидеть напротив.

Женщина, размышлял он, это открытая закрытость: в своём платье она как бы без платья. То, что она скрывает, очевидно лишь до тех пор, пока остаётся сокрытым. Мужчине нечего скрывать, ибо всё известно заранее; о том, что «имеется» у женщины, ничего не известно, хотя бы вы тысячу раз видели всё это у других. Женщина оттого всякий раз другая, что она всегда одна и та же. Всякий раз все другие не в счёт – но до тех пор, пока занавес не поднялся. Если бы удалось раздеть её донага, вас постигло бы разочарование. Оказалось бы, что там нет ничего особенного! Оказалось бы, что там есть только то, что есть, и ничего

более; оказалось бы, что разоблачённая истина уже не истина, и вы стали жертвой обмана. Потому что вам было обещано нечто иное, – что же именно? Очевидно, что его можно узреть только внутренним, но не внешним оком, и достаточно отвернуться, чтобы тайна вновь засияла в своей непостижимой очевидности. Лживое откровение, думал он. Её неправда и есть её истинная правда. Её неуловимость есть не что иное, как её истина.

Вспыхнула молния, и на плёнке отпечатались испуганные, как лица заговорщиков, лица участников тризны. Гости переговаривались вполголоса, ансамбль всё ещё изнывал за кулисами, пиршественный корабль медлил сняться с якоря, никто не смел взять на себя инициативу. В русском застолье лиха беда начало. То было не столько уважение к памяти покойника, сколько благоговение перед столом. Запахи блюд поднимались к потолку, как курения над алтарём. В графинчиках мерцала жидким янтарём, алела и розовела водка, настоянная на лимонных корочках, на рябине, на тёмном, как кровь, перечном стручке. Мать Люды, рыхлая женщина в тёплом белом платке на плечах, с брошью в кольце мелких дешёвых брильянтов в вырезе тёмного шерстяного платья, подняла заплаканные глаза на нового гостя. Всякое пиршество создаёт иерархию, пир, собственно, и есть иерархия; сам того не желая, Лев Бабков вступил в неё. Что бы ни думали о нём присутствующие, своему рангу он был обязан тем, что занял место возле дочери усопшего. Стало быть, думали гости, начальник или жених. Центром стола и верховной инстанцией оставалась вдова, но это была инстанция, потерявшая реальное значение. Быть может, многие видели её впервые. Вообще на поминках чаще всего собираются незнакомые люди. Это облегчило Лёве победу, к которой он вовсе не стремился.

Истинным средоточием траурного пиршества была, разумеется, Людочка, вернее, Людочкина неожиданно возмужавшая, одетая в чёрный шёлк, загадочно-скромная грудь – словно распутившийся на могиле цветок. Мужчины косились в её сторону, женщины испытывали лёгкое возбуждение. Но о ней сказано уже достаточно. Все смотрели на Льва Бабкова, молча стоявшего с бокалом в руке. Положение обязывает. Академический значок ярко выделялся на лацкане его пиджака. Значок стеснял гостей, в то же время им было лестно, что среди них находится человек из другого и, очевидно, высшего мира. Кое-кто, замешкавшись, продолжал накладывать на тарелку себе и соседке, руки робко тянулись к винегрету, к грибочкам, вдова вполголоса кисло потчевала гостей, затем всё смолкло. Все схватились за свои рюмки. Лев Бабков обвёл глазами присутствующих, повернув голову, устремил взгляд на вдову, скорбно кивнул. В глубоком молчании был выпит первый бокал.

И тотчас наступило общее облегчение, словно груз свалился с плеч, загремели вилки, раздались голоса, на другом конце стола громко хвалили умершего. Мать Люды не принимала участия в общем разговоре, ничего не ела, ничего не пила. Она сидела подле дочери, напротив них помещался кто-то, должно быть, тоже из института усовершенствования истории, из того же высшего мира, о котором мать имела очень смутное представление, – выпивал, говорил и опять наливал, но она его уже не видела, напротив неё, за внезапной густой пеленой

слез, сидел её муж, как живой, как он всегда сидел, не обращая внимания на неё. И она чуть было не засмеялась от счастья и боли. Открыв рот, с остановившимся взглядом, она прижимала к груди свою брошку. Бог знает сколько лет пролежавшую без употребления. В том-то и был весь ужас и весь восторг, что она доподлинно знала, что его нет больше, нет нигде, а есть только страшная урна из фаянса с горстью тёмно-коричневого, как кофе, порошка, – и доподлинно знала, что он здесь, точно такой, как всегда, разве что приодетый по случаю праздника («как бы не перепил», мелькнуло в голове), усмехался, подливал себе и ни на кого не обращал внимания. В это время кто-то там возгласил в который раз: «Что ж... помянуть так помянуть!», и траурный пир, словно поезд, наддал, застучали колёса, покатались платформы, вагоны.

Вокруг порхал разноголосый говор, скромно хихикали женщины, по большей части ей незнакомые, за столом как будто начали забывать, что случилось, по какому случаю собрались, но ей было всё равно. Дочь спросила её о чём-то, она не ответила, может быть, не расслышала вопрос в общем шуме. Она смотрела на мужа. Тот повернул голову, с кривой усмешкой следил, как на другом конце стола некто уже немолодой, с постным лицом, с остатками бесцветных волос, в пиджачке и криво повязанном галстуке стоял с бокалом, дожидаясь, когда стихнет базар: это был сослуживец покойного, плановик с базы, стучал вилок о тарелку и несколько раз принимался говорить: «Дорогие друзья...»

Чинный порядок был восстановлен – ненадолго, скорбное благообразие изобразилось на лицах, женщины ждали, поднеся скомканные платочки к носу и рту. Плановик говорил свою речь так, что почти не было слышно. «А чего, – громко сказал чей-то голос, – всё бывает. Вот я скажу о себе...» Другой возразил: «Да ты молчи, лучше закусывай...» Голос продолжал: «Все там будем». – «Сольцом, сольцом закуси». Тонкий бабий голос затянул песню.

Человек из института, сидевший напротив вдовы, со скрежетом отодвинул стул, вышел, слегка пошатываясь, очевидно, в уборную или покурить, и почти сразу же вышел в коридор следом за ним Лев Бабков; из комнаты раздавался шумный говор. «Прикрой дверь, – сказал Бабков, – ты как сюда попал?» – «Вот так и попал», – отвечал Кораблёв. «Она что, тебя приглашала?» – «Да не то что бы...» – пожал плечами Кораблёв. «Ясно», – сказал Бабков. «Как тебе сказать, – продолжал Кораблёв, – приглашать не приглашала, а с другой стороны... А чего, – спросил он, – надо, чтоб приглашали?» – «Слушай, Муня... Только ты не того, ясно?» – «А чего, – сказал Муня, – я ничего». – «Слушай», – пробормотал Бабков. В голове поворачивалась какая-то неопределённая мысль, за минуту до этого он ни о чём таком не думал. Ему казалось, что его губы сами произнесли слова, не спрашивая разрешения: «Докуришь, позови её». – «Её?» – спросил Кораблёв.

Он вернулся. «Не хочет идти». – «А ты попроси. Скажи, я хочу попрощаться». Кораблёв вернулся в комнату, оставив дверь открытой, и больше не выходил. Несколько минут спустя в коридор вывалилась толпа мужчин, один спросил, где тут можно отлить. Другой сказал: «Пошли, я покажу». – «Постой, – ска-

зал первый, – я чего спросить хотел. Я смотрю, вы человек образованный. А вы кто же будете?» Бабков развёл руками. «Я-асно», – протянул человек. В эту минуту в дверях комнаты появилось чёрное платье. Бабков сказал, что хочет попроститься. «Тебя разве не интересует? – спросила Людочка. – Ты зачислен». – «Куда?» – спросил он почти с испугом. Она ответила: «Ты зачислен в штат. Эм-энэсом». Бабков извинился, сказав, что он немного подвыпил. Кем зачислен? Куда? Она смотрела на него с укоризной, и грудь её в чёрном лифчике медленно, ровно дышала под шёлковым полупрозрачным платьем. «Подвыпил, – сказала она. – Не подвыпил, а выпил. И всё забыл». – «Зато тебя не забыл», – заметил Бабков. Люда сделала вид, что не расслышала. «Младшим научным сотрудником, – повторила она. – В отдел... в общем, пока ещё не решено, в какой отдел».

«Гм», – сказал Бабков.

«Сперва тебе надо представиться».

«Кому?»

«Кому, кому. Директору, кому же ещё. Это такой порядок. В общем, формальность: он на тебя посмотрит, и всё. А там уж решат, в какой отдел. – Она взглянула на Лёву. – Ты что, не рад, что ли? Хоть бы спасибо сказал».

«Шумно здесь, – сказала она, помолчав. – Я сейчас предупрежу мать; только недолго, а то она там совсем одна сидит...»

«Слушай, – проговорил Бабков, когда вышли на крыльцо, и снова почувствовал, что за него как будто говорит кто-то другой. – Я хотел спросить...» – сказал он и обнял женщину. На одно незаметное мгновение Людочка подалась к нему всем телом, так что он почувствовал её живот, и тотчас высвободилась. «К вашему сведению, – сказала она. – Сегодня не такой день».

«Люда, – сказал Бабков, – поедем ко мне».

«Куда это, к тебе?» – спросила она насмешливо.

«Я живу за городом... временно. Снимаю дачу. Хозяйки всё равно нет. Поедем на дачу!»

«Куда это я поеду на ночь глядя, никуда я не поеду. Ещё чего выдумал. – Её соски стояли под платьем. – А гости, а мама? Сегодня не такой день».

Ей хочется, чтобы её уговаривали. Ей хочется, чтобы её потащили силой, подумал Лев Бабков. Вслух он сказал:

«Я всё хотел спросить: ты с ним... Ты его любовница?»

«Ты что? Ты о ком?» – спросила она удивлённо.

«Извини, я выпил».

«Ты о Директоре, что ли?.. А ты знаешь, сколько ему лет?»

«Я думаю, он сам не знает».

Людочка мельком оглядела его. «Где же твои ордена?»

«Я их вернул».

«Кому?»

«Вернул владельцу... дяде. У меня дядя коллекционер».

«Ну, я так и думала. Я сразу поняла, что ордена поддельные. Между прочим, – сказала она, – и документы поддельные».

«Как это, поддельные», – пробормотал Лёва.

«Не такие уж все кругом дураки, – сказала Людочка сентенциозно.

Она смотрела на парапет набережной, на другой берег, где зажигались огни. – Он хочет, чтобы все так думали», – проговорила она. Лев Бабков хотел спросить, имеет ли она в виду Директора, но тут оказалось, что кто-то сзади подошёл и слушает их разговор.

«Вот, – сказал человек, – я принёс тебе шаль. У матери попросил. А то ещё простынешь. Схватишь воспаление лёгких. Как я».

«Ты бы лучше с ней посидел...» – пробормотала Людочка, кутаясь в пуховый платок.

«Успеется. Красивая у меня дочка, а?»

«Не дочка, а падчерица», – поправила Люда.

«Какая разница?» – сказал человек грустно.

«Большая, – отрезала она. – Если бы ты был отцом, а не отчимом, ты бы не посмел. Он меня... как это называется. Хотел лишить девственности».

«Послушай. Это ты сама с собой говоришь? Или я уж совсем окосел?» – пробормотал Бабков.

«Неправда, Люда, – сказал мертвец. – Всё совсем не так, сама знаешь».

«И ты ещё будешь спорить. Мне было шестнадцать лет».

«Да, шестнадцать. А теперь – сколько тебе теперь?.. Я, Люда, тебя любил. Так любил, как никакой отец любить не сможет. Я боялся к тебе притронуться. А ты садилась ко мне на колени. Что же я, по-твоему, деревянный, что мне было делать?.. Но только то, что ты говоришь, насчёт этой... девственности, это неправда, Люда. Я твою девственность чтил...»

Было уже темно, и огни другого берега отражались в реке.

«Ладно, отец, иди. Хоть в эти последние минуты не бросай маму».

«Я её не бросаю, сама видишь... А надо было бросить. И с тобой уехать... Может, я и не пил бы, и жив бы остался. А чего это он к тебе клеится. Ты кто такой будешь?»

«Я не прочь с вами поговорить», – сказал Бабков.

«О чём же это?»

«Я бы хотел поговорить с вами о бренности. О смерти».

«А чего о ней говорить-то», – возразил отчим Люды и так же незаметно, как он появился, растаял в вечерней тьме.

Вместо любви

Тот, кто спал, слышал отдалённый рокот, те, кто бодрствовал, думали, что им снится сон. Есть истина дня, и есть истина ночи, думал Лев Бабков, обе половины земного бытия лгут по-своему. Дело происходило ночью. На пустынных перекрёстках сияли зелёные огни светофоров. Город спал, лиловые тучи накры-

ли его, как одеяло. Может быть, это была особенно глубокая, провальная, бездыханная ночь.

Он сидел в темноте на краю постели, там пошевелились; заспанный голос спросил: «Ты чего?» – «Спи», – сказал он. «А ты? Почему не спишь». – «Посижу немного и лягу». Рокот приближался. «Тебе нехорошо?» – «Всё в порядке», – заверил её Бабков.

Она приподнялась. От неё шёл запах женщины, тепло брачной постели, она спит без рубашки.

«Я знаю, отчего ты не спишь, ты думаешь о нас с тобой». Он пожал плечами. «Я тебе надоела, да? Скажи прямо». Молчание. Лев Бабков подошёл к окну и увидел мёртвую рябь воды и силуэт набережной. «Иди ко мне, – сказала Люда, – я тебе что-то скажу».

Гром с окраин.

С дальних излучин реки доносится этот грозный натиск, ничто уже не мешает вторжению, город не в состоянии заслониться от рокота, он уже близок.

«Не пойму я, что ты за человек...»

«Пора бы уже понять», – вяло отозвался Лёва. Оба, замороженные, стоят у окна. Лев Бабков обнял её плечи, Людочка, дрожа от холода, босиком, прижимает к груди скомканную рубашку.

Фургоны с брезентовым верхом, с погашенными фарами друг за другом выехали на тусклую набережную, рёв моторов, усиленный близостью воды, ударил в стёкла домов. Странно, что люди не повскакали с постелей, не высыпали на улицу взглянуть, что случилось. Вероятно, думали, что это им снится. Грузовики с рядами круглых шлемов, с неподвижно-мертвенными лицами солдат протарахтели вслед за фургонами с амуницией, а там уже выворачивают из-за поворота, выстраиваются в колонну, длинной вереницей растянулись по всей набережной покрытые проволочной сеткой машины с арестантами. Поднимайтесь, смотрите на них, каждый из вас может завтра очутиться на их месте. Головы опущены, рук не видно, руки засунуты в рукава бушлатов, конвоиры, с автоматами перед грудью, покачиваются, прислонясь спинами к кабине шофёра, по двое в каждом кузове, – рискованная ситуация! Нарушение инструкции. Что если эта масса сидящих, без наручников, без ничего, в опасной близости от охраны, завладеет оружием, выпрыгнет, и поминай как звали? Ничего, не выпрыгнет. Сидят, опустив головы в уродливых арестантских бескозырках. Соблюдая короткую дистанцию, как требуют правила уличного движения, за грузовиками в клетке-колымаге едут смиренно, в проволочных намордниках сторожевые овчарки.

О Господи, а это ещё что? Привыкнув видеть на домашнем экране ужасов всё, что только можно придумать, вы не готовы к мысли о том, что нечто подобное происходит в действительности. Но что такое действительность? Вослед живым, в грузовике с прицепом, замыкают колонну человеческие скелеты. Мирно едут, кивая белыми черепами, словно партия готовых изделий с фабрики медицинских экспонатов.

«Замёрзла?» – пробормотал Бабков. Стояние у окна вновь сблизило любовников. Стыдно сказать, ночной парад разбудил желание. Невозможно объяснить, отчего созерцание ужасных картин подчас производит на женскую душу эффект, подобный действию скабрёзных фотографий.

Словно по обязанности человек без биографии двинулся следом за ней к остывшему ложу, да, приходится признать, что это был род службы. Увы, оба это сознавали, словно следуя указаниям режиссёра («вначале поцелуй, руки женщины на затылке партнёра... колени по сторонам, чёрт возьми, не так, вы же сами знаете, как это бывает»). Лев Бабков открыл глаза. Оба лежали на спине, не касаясь друг друга. Мёртвая ночь, призрачный прямоугольник окна. Заснуть, заспать? Но нет хуже разочарования, когда сцена не удалась.

«Если бы ты меня любил... – бормочет Людочка. – Если бы ты...».

Она рассчитывает на опровержение.

Им казалось, что они вновь слышат рокот. Как это всё заучено, думал он, сейчас она скажет, что у меня есть другая. Другого объяснения ей не могло придти в голову, если не получается, значит, вклинилась другая женщина.

Рокот приближался.

«Кто она такая?» – спросила Люда.

Ей хотелось встать и сказать: посмотри на меня. Разве я так уж плоха?

«Чепуха, – сказал он вяло. – Нет у меня никого, что ты привязалась...»

«Ты думаешь, я на тебя обижена из-за того, что иногда...».

«Иногда».

«Ты думаешь, я из-за этого».

«Кто тебя знает, – сказал Лёва. – А как насчёт старичка?»

«Дурак. Ты что, действительно поверил, что у меня с ним... – Ей стало легче, всё-таки это было какое-то подобие ревности. – По крайней мере, – проговорила она, невольно прислушиваясь к тому, что, по-видимому, приближалось на самом деле, – он уважает во мне женщину. Никогда не позволяет себе грубостей. А ты...»

Она добавила:

«Думаешь, это для меня главное?»

«Что же для тебя главное?» – спросил Бабков, которому было скучно.

«Для меня... – сказала Люда, надевая через голову рубашку, занавесив лицо и запутавшись в рубашке, и думая о том, что он видит её, но как бы без её ведома, – для меня главное... – она просунула, наконец, голову в вырез, тряхнула волной волос и опустила рубашку на живот и бёдра, – чтобы это было не просто так, сделал, что положено, и прочь».

Вечно одно и то же, думал он.

«Конечно, когда бывает вместе, это большое счастье».

«Помолчи». Он смотрел в окно.

«Но ты меня никогда не хочешь выслушать...»

Другими словами, не желаешь взглянуть. Если бы он хоть раз как следует меня разглядел, думала Люда.

«Снова едут», – сказал Бабков, прислушиваясь к медленно нарастающему дрожанию стёкол. «Кто, кто едет?» – спросила она. Её охватило негодование. Какое значение имело всё это по сравнению с тем, что происходит здесь, в её комнате!

На что она жаловалась? Скоро, очень скоро, может быть, уже в следующем году ей должно было исполниться тридцать. Ей можно было дать двадцать. Формально её опыт общения с мужчинами насчитывал полтора десятка лет или даже чуть больше. Правда, следует уточнить, что в данном случае подразумевалось под опытом. В тринадцать лет она постигла отраву и сладость первого поцелуя. Возможно, это событие было самым важным в её жизни, она помнила его до малейших подробностей. Повторение уже не было таким упоительным. Может показаться странным, что попытка дальнейшего сближения, вероятно, уже с другим мальчиком, неизвестно откуда взявшимся, где-то во дворе, точнее, на грязных задворках, вовсе не была событием. Она даже не помнила, как его звали. Помнила только, что это была какая-то бесплодная возня; любопытство, которое неодолимо влекло её, парализовало её волю, сделало её зрительницей своего падения, отчего и падения никакого не произошло; любопытство так и не было удовлетворено, и позже, когда она догадалась о чувствах отчима, она была скорее разочарована его нерешительностью, не подозревая о том, что слишком преданная любовь может оказаться преградой для чувственности.

Такие истории могут привести к неблагоприятным последствиям. То, что выше было названо «опытом», лучше было бы назвать хронической неопытностью. Давно уже было забыто приключение с отчимом, но его тень стояла между ней и другими мужчинами. В двадцать с чем-то лет Люда твердо знала, как знают о том, что вслед за днём наступает ночь, что в жизни нет ничего важнее любви, но чувствовала, что в ней самой есть что-то тормозящее предприимчивость кавалера. Не то чтобы ей не хватало привлекательности, да ведь и всё, что здесь рассказано, свидетельствует о противоположном. Но в нужный момент она как будто не догадывалась, что должна сделать встречный шаг, пусть ничтожный; эта неумелость, обворожительная у юной девушки, смущает и расхолаживает, когда вы имеете дело со взрослой. Мы сказали: застарелая неопытность. Это не означает, что Люда вела вполне добродетельную жизнь. Чтобы стать подлинным оружием женщины, неопытность сама по себе нуждается в опыте. Неопытность, если можно так выразиться, есть часть женского опыта. Вот этого как раз и не произошло. Утратив анатомическую невинность, Людочка всё ещё в каком-то смысле оставалась подростком.

На что же она сетовала? На то, что Лёва не мог ублаготворить её наконец-то проснувшуюся чувственность? Или на то, что он, по-видимому, не придавал этому большого значения? Неумение «удовлетворить» было для Люды знаком того, что её не любят. Порой она корила сама себя, чувствовала, что она слишком пассивна, мифологически пассивна, как поле, которое пахнут в поте лица, наталкиваясь на камни. Мы видели, что, пытаясь реанимировать чувственность любовника, Люда отчасти противоречила себе: ведь главное, по её словам, заключалось не «в этом».

Не думая ни о чём, кроме собственной участи, не интересуясь ни историей, ни психологией, Люда выразила настроение эпохи, уловила эту особую болезнь времени, которую следует назвать истощением жилы, веками питавшей жизнь и литературу: исчезновением страсти. Девушка, вооружённая чувством, как рыцарь копьём и щитом, в блеске и великолепии своей женственности, бессильна против пошлости и пустоты жизни, как всадник в доспехах бессилён против огнестрельного оружия рядовых неволи, воюющих неизвестно за что: в этой жизни ему больше нечего делать. Девушка, которой открылось, что в мире иссякла любовь, что вся долгая история страсти, упоительный сценарий встреч, сомнений, свиданий, разлук и сближений обесценился, что без всего этого можно прекрасно обойтись, – оказывается в таком же положении, как и мужчина, осознавший, что ему нечего делать в мире, лишённом смысла и ценностей; оба становятся людьми без биографии. Но жить-то надо! И они уподобляются игроку, который продолжает делать ходы, не заметив, что у него слопали короля. Люда встала с постели. Босиком, обняв нашего героя, она стоит у окна, мучительно вслушиваясь во что-то, что постепенно умирает в ушах. Блестят мостовые, мертво поблескивает река. Светлеет оловянное небо. Она прижимается к Лёве всём телом.

Вот она, истина, все её переливы, изгибы и возвышения, тепло рук, прохлада бёдер. Рубашка лежит на полу.

Каникулы

Лето в разгаре. Куда пропал Лев Бабков? Можно ли вообще пропасть в стране, где каждый гражданин на учёте, каждый числится в списках и картотеках, зарегистрирован по месту жительства, по месту работы, по месту временной прописки, в паспортном столе, в военкомате, в книге записи актов гражданского состояния, наконец, в Книге человеческих судеб, куда глазам смертного не дано заглянуть, как, впрочем, не дано ему знать, что записано в его личном деле. И всё же куда он делся? Не умер – хотя бы потому, что лучший способ быть обнаруженным – умереть.

Представим себе некое учреждение, новейшее справочное бюро или что-нибудь такое: барышня набирает на пульте шесть букв, и перед ней скользит на экране список однофамильцев нашего друга. Аппарат находит имя, отсекает тёзок, загорается лампочка, зелёный глазок, что-нибудь такое, по огромной карте бежит сигнал, словно огонёк по бикфордову шнуру: Москва, знакомый вокзал, и старейшая русская железная дорога, соединившая обе столицы, и то место, где карандаш императора, скользя по линейке, споткнулся на выбоинке, отчего будущая, прямая, как стрела, дорога как бы слегка надломилась. Но тут как раз на месте выбоинки бегучий огонёк покидает железнодорожную линию, уходит вбок, в просторы северных губерний – Лев Бабков едет в грузовике по просёлочной дороге. Солнце пылает в небе, и пыль клубится на полкилометра.

Где начало, где конец похождениям Лёвы, личности, пожалуй, даже симпатичной, не лишённой – с этим нельзя не согласиться – известного шарма, и всё же слишком неуправляемой, чтобы стать героем связного повествования? Ибо вымышленные истории, для того чтобы их приняли за подлинные, должны следовать определённому сюжету. Всякая повесть, это знали рассказчики всех времён, с чего-то начинается и чем-то кончается. Между тем как прозу жизни не втиснешь ни в какой литературный сюжет.

Скорее летопись жизни Льва Бабкова может напомнить – со всеми необходимыми оговорками – Большую Историю, ту Историю, над которой, как герб, красуется мраморный нос Клеопатры. Будь этот нос, сказал один мудрец, на вершок длиннее, история пошла бы иначе. Что такое хроника жизни Бабкова, как не та же история равно возможных возможностей, из которых каждая могла бы осуществиться с такой же вероятностью, как и другая, – другими словами, история торжествующей случайности? Вот она, разница между подлинной историей и романным сюжетом. В романе нет места произволу случая; то, что там совершается, могло совершиться только так и никак не иначе. Слово Провидение, роман непререкаем.

Лев Бабков трясётся в грузовике; рядом друг и соратник Кораблёв, издали видно, как вспыхивают огнём стёкла кабины, приходится держать кабину закрытой из-за густой жёлтой пыли. Машина подпрыгивает в окаменевших колеях, трясутся фанерные транспаранты в кузове. Деревня как будто вымерла. Разумеется, их никто не ждал. Сигизмунд стоит перед высокой завалинкой, три тёмных окошка, ветхие ставни висят на расхлябанных щеколдах, за стёклами паучьи цветы. «Мамаша! Жива?..» Он стучится в окно.

Показывается сморщенное личико с кулачок. «Батюшки, да неужли ты». Мамаша не мамаша, а что-нибудь вроде двоюродной седьмой воды на киселе. Взошли на крылечко, из тёмных сеней, наклонив головы, чтоб не разбить лоб, шагнули в избу.

«А это вот мой лучший друг Лев Казимирович, научный сотрудник...»

«Батюшки, да как же это, да неужли».

«Прошу любить и жаловать. Мы ненадолго».

«Чего ж. Живите...»

«Мы, мамаша, по делу приехали».

«Каки-таки дела. Да что ж я, дура, сию».

«Ты только, мамаша, не волнуйся».

«В сельпо бы сбегать. Водочки выпьете, аль как?»

«Не помешает. Мы с собой привезли. Главное, не беспокойся».

«А чего мне беспокоиться. Меня, чай, все знают».

«Вот и хорошо. Хорошо, что все знают. А ежели кто спросит, мол, кто такие, то ты будь спокойна. У нас всё чин-чинарём».

«Это как же понять».

«А очень просто. У нас патент».

«Это, значит, ты теперь по новой специальности будешь, аль как?»

«По новой, мамаша. Мастер фоторабот. Лев Казимирыч мне помогает».

«Эва. Это что ж такое?»

«Снимаем. По деревням ездим и снимаем. Хочешь, тебя тоже снимем».

«И как же... так всё лето и мотаешься?»

«Волка ноги кормят, мамаша. Ты-то как?»

«Да как; никак. Так вот и живу. День да ночь – сутки прочь».

«Молодцом, мамаша, так держать».

«Чего?»

«Так держать, говорю! Ладно, будем здоровы», – сказал Муня Кора-блёв и вознёс гранёный стакан.

«Мы, мамаша, – продолжал он, жуя, – не просто так деньги собираем. Мы большую работу делаем, людям пользу-радость приносим. Чего не пьёшь-то?»

«О-ох, гадость какая; и чегой-то в ней находят. А это чего?»

«Рыба такая. Да, так вот, я говорю... Может, лучше пусть Казимирыч объяснит. Ты, Лёва, подходчивей».

Лев Бабков сказал:

«Культурный уровень нашего народа заметно вырос. Наши люди уже не довольствуются обыкновенной фотографией».

«Может, лучше, – прервал Кораблёв, обозревая скудный стол, – мы тебе завтра всё объясним. Это дело такое... сложное дело. У тебя чего там в сарае?»

«Да чего. Ничего. Пашка Рыжий ночует».

«Угу. А нельзя ли так сделать, чтоб он на время освободил помещение? Что это за Пашка такой?»

«Бог его знает. Говорит, погорелец; а может, жена выгнала. Прибился к нам».

«Что ж, он тебе платит, что ли?»

«Да какое там; у него и денег нет».

«На что ж он живёт? Работает?»

«Какая работа. Бабы кормят».

«Тэк-с. Ясенько. Сарай нам подходит, а Пашку этого мы, того, попросим. Временно. Ты не волнуйся. Мы всё мирно. Мы вот что. Мы тут поживём недельки три-четыре, ежели не возражаешь, смотря как дело пойдёт».

«А куды ж его?»

«Кого, Пашку? Ну, у кого-нибудь пока поживёт, – может, у тебя? Изба у тебя просторная, а если погода продержится, так и в сенях можно спать. Ты не беспокойся, мы тебе заплатим».

«Эх... ох».

«Да в чём дело-то? Чего захала? Есть возражения?»

«Да я-то что. Бабы не захотят».

«Ага, – промолвил Муня Кораблёв, – ну пошли, поглядим на твоего Пашку».

Специалист по известному делу

«Паш, а Паш... Отдыхает, должно».

«Может, его там нет?»

«Куды он денется. Паша! Вот тут гости у меня. Из Москвы; тебя спрашивают».

Из сарая послышался неопределённый звук, похожий на тот, что раздавался из пещеры дракона Фафнера, когда его разбудил Зигфрид. На пороге выставился босой, в рубаше навыпуск и вельветовых брюках, полнотелый, заспанный, розоволицый и рыжебородый мужик.

«Ладно, мамаша, – процедил Кораблёв, – ты ступай. Мы тут сами договоримся...»

Несколько времени оглядывали друг дружку, собирались с мыслями. «Павел», – угрюмо представился хозяин сарая, протягивая огромную, как лопата, ладонь.

«Павел, а дальше?»

«По батю, что ль? Игнатьевич».

«Вот, Паша... хотели познакомиться».

«Угу. Заходи. Ты кто будешь?»

«Я, как бы это сказать. Он научный сотрудник, а я его ассистент. Лев Казимирыч!» Муня высунулся из сарая. Лев Казимирович в это время обозревал деревню, где не слышно было ни единой живой души.

«Только вот посадить некуда. Вон табуретка, только не совету».

«Ничего, мы постоим».

Лев Казимирович вошёл в сарай.

«Или сюда», – сказал хозяин, кивнув на широкое ложе – матрац на четырёх кирпичиках, поверх которого было наброшено стёганое одеяло розоватого, изрядно выцветшего и потёртого шёлка. Подушка в цветастой наволочке хранила вмятину от головы Павла Игнатьевича.

«Сломались», – пояснил он.

«Кто сломался?»

«Да козлы, говорю, сломались. Он у меня на козлах стоял. Всё руки не доходят починить... Какими же науками, так сказать, это самое, занимаетесь?»

«Я историк, – сказал Лев Бабков. – А также искусствовед».

«Он учёный универсальный. Ты не смотри, что он такой скромный. Он как Леонардо да Винчи, слышал такого? Вот он тоже».

Муня приблизил рот к уху хозяина и – вполголоса:

«Имей в виду, он дворянин царской крови».

«Какой такой крови?» – спросил Павел Игнатьевич, воззрившись на Лёву, на что Кораблёв отвечал неопределённо-значительным жестом, кивнул и прищурил один глаз.

«А ты по специальности кто будешь?»

«Кто буду? У меня, как бы это сказать, специальность особая, – промолвил Паша. – Курите?»

«Бросил. Здоровье не позволяет».

Лев Бабков сказал, что и он не курит.

«Смотря что курить. Я, к примеру, только самосад. Папиросу в рот не возьму, в папиросах весь яд. Народ отравляют...»

Паша взял с колченогого стола, стоявшего у стены под узким пропродолговатым окошком, том произведений Ленина издания двадцатых годов, с профилем вождя на красном сафьяновом переплёте.

«Опять же надо учесть, – сказал он, – какой бумагой пользоваться».

«Это сатинированная. Слишком плотная, – заметил Бабков. – Да и печать...»

«Что печать? Чем тебе печать не угодила?»

«Печать дореволюционная, очень много свинца».

«Да, – сказал Паша. – Сразу видно – историк. А вот в самокрутках, я вижу, ты не разбираешься. Свинец, он что, свинец? Свинец весь выгорает. А вот важно, о чём сама книга».

Паша вырвал листок, сложил вдвое, аккуратно разорвал, отложил половинку; из вельветовых штанов явился кисет, Паша добыл горстку табака, насыпал и распределил вдоль бумажки, свернул, послюнил, пригладил, отогнул конец в виде раструба.

«Можешь думать, как хочешь, а я так считаю, что книга, она свою роль играет. С этим самым дымом... – пыхнув огнем, прохрипел он, – в человека знание входит. Вот о чём там пропечатано, то и входит. По себе чувствую».

«Наука так не считает», – сказал Кораблёв.

«Не дошла ещё твоя наука».

«А вот мы сейчас Льва Казимирыча спросим. Ты как, Лёва, полагаешь?»

Лев Бабков пожал плечами.

«Что, сомневаешься?»

«Да нет, может быть, он и прав», – сказал Бабков, подошёл к столу и раскрыл то, что там лежало.

Хозяин улёгся на своё ложе, бородой кверху, с козьей ножкой в зубах, сложил ручки на большом животе.

«Так вот, значит, того самого. Какая моя специальность, спрашиваешь. Моя специальность редкая. То есть вообще-то и не такая уж редкая, но здесь у нас – очень редкая».

«Ага – что же это за такая специальность?»

«Как тебе объяснить, – промолвил Паша, выпуская дым. – Вроде бы дело простое. Вроде бы каждый может. Да только здесь мужиков почти что нет никого. А главное, не у каждого есть дарование. Каждый работает по своим, так сказать, возможностям. Как наши великие классики говорили? От каждого по возможности, каждому по труду».

«Ошибаешься, – промолвил мрачно Кораблёв. – Искажаешь. Карла-Марла не так говорил. От каждого по способностям!»

«Ну, мы, как бы это сказать, высшего образования не кончали. А тоже кое-что умеем. Я из своей профессии секрета не делаю. Вот мои дипломы».

В сарае было довольно чисто. Свет проникал через два окошка с кружевными занавесками. Дощатый пол устлан половиками. В углу, под одним из окон, стоял стол, о нём мы уже упоминали, рядом помещалась газовая плита с двумя конфорками, была и кое-какая утварь. На стене, над ложем, в виде веера на фанерном щите были прикреплены женские фотографии. «Вот они дипломы», – повторил обитатель сарая.

«А по-моему, – проговорил Кораблёв, – тут ещё кое-что есть. Ты чего там разглядываешь?»

«Эге!» – сказал он, подойдя к столу

«Ракурс не убеждает. Ситуационная неконгруэнтность тела и камеры, в результате которой тело лишилось своей пространственной выразительности... Одним словом, – вздохнув, сказал Лев Бабков, – недостаточно глубокая проработка имиджа!»

Он захлопнул альбом.

«Слышал? А ты говоришь», – торжествующе сказал Кораблёв.

«Чего я говорю: ничего я не говорю», – возразил Паша.

«А между прочим, – заметил Кораблёв, – за такие фотографии можно и срок схлопотать... Это, брат, такие картиночки, если кто-нибудь стукнет... а? Это я так, между прочим».

«А ты меня не пужай. Я такой человек, что думаю, то и говорю. Какого хрена вы сюда припёрлись, выгнать меня хотите? К твоему сведению: никуда я отсюда не уйду. В гости ко мне пожалуйста, а квартиру мою занять – это уж извини-подвинься. Не пройдёт».

«Да не о квартире речь, на кой нам хер твоя квартира. Может, мы всё-таки договоримся. Мы ведь только на время».

«Не о чем договариваться. И силой меня никто не выгонит. Потому на моей стороне общественное мнение. Только попробуй меня тронь. Тебе бабы яйца вырежут».

«Зачем же силой? Товарищ дорогой. Мы прекрасно можем всё решить. Ты ведь даже не спросил, что мы тут собираемся делать».

«А это меня не касается».

«Н-да, – сказал Кораблёв, – картиночки у тебя того...»

«Чего картиночки? Ничего там такого нет».

«А главное, снято всё так примитивно. Никакой романтики. Или вот эти, – Муня показал на стену. – Ведь правду я говорю?» – отнёсся он к Бабкову.

«Никакой конгруэнтности», – сказал Лев Бабков.

«Вот и специалист подтверждает. Да ты послушай, дура, что тебе говорят! В твоих же интересах... Нет, – сказал Кораблёв, – совершенно очевидно, что без поллитра тут не разберёшься, хватит ругаться, пора садиться за стол переговоров».

Диалектика образа и подобия

Сели за стол переговоров. Впрочем, не сразу.

«Мне очень неудобно, что мы так к вам нагрязнули, – проговорил Лев Бабков, воспользовавшись отсутствием Муни, чтобы загладить возникшую неловкость, – не думайте, пожалуйста, что мы... Но знаете, что я подумал: вас тут все знают, и особенно, если я правильно понял, женский пол...»

«Правильно», – сказал Паша.

«Вот эти дамы – кто они, собственно, такие?»

«Кто такие? А вот такие, как бы это сказать, обыкновенные».

«Знакомые ваши?»

«А кто же. Знакомые... и даже больше».

«Вот я и подумал... Вы могли бы работать вместе с нами!»

«А я, между прочим, без дела не сижу», – сопя, заметил Павел Игнатьевич.

«Вот, вот – я это как раз имел в виду. Не хотели бы ваши знакомые, к примеру, сфотографироваться первыми?...»

Он добавил:

«По новому методу».

Павел Игнатьевич солидно осведомился, что это за метод. «Видите ли, в чём дело...» – проговорил Лев Бабков.

Кому, как не человеку без биографии, человеку-протею, могла придти в голову эта идея, вообще говоря, не новая, – говорят, это изобретение практиковалось на ярмарках ещё в самом начале столетия; кто, как не он, мог понять эту извечную тягу человеческой души вселиться в другой образ? Оставляя в полной неприкосновенности вашу личность – не столько в обычном смысле, сколько в том значении, которое имеет это слово в народном языке, то есть оставляя вам лицо, – фотография меняла всё остальное, вашу судьбу, эпоху, ваш социальный статус. Вы могли стать кем угодно. Если вы в этой жизни, что чаще всего и бывает, сидели в дерьме, то виноваты были не вы, а судьба, случай, гнусное время и несчастные обстоятельства. Всё условно, всё относительно. Кто ты такой или кто ты такая? Не тот и не та, а совсем другая.

И больше того. Изобретение, а лучше сказать, идея, которую друзья везли в грузовике, которая была воплощена в фанерных щитах, немного спустя перекочевавших из кузова в сарай, утоляла глубоко заложенное в нас вождение к себе как к Другому; или – почему бы и нет? – как к Другой. Если верно, что в каждом из нас существуют задатки и рудименты другого пола, то не менее верно и то, что в душе каждого дремлет грёза о себе как о существе противоположного пола. Может быть, это не что иное, как вечная тоска по утраченной целокупности, та самая сущность Эроса, о которой толкует Аристофан у Платона. Понимаем, что отвлеклись, так как подобных соображений, возможно, не было у Льва Бабкова (не говоря уже о ярмарочных зазывалах в Нижнем Новгороде начала века). Но почему не сказать об этом? Речь идёт не только о том, чтобы в одно мгновение, равное вспышке фотоаппарата, перенестись в иную жизнь, в

немыслимый век, и предстать витязем, ковбоем, кавалером, командармом, не только о том, чтобы из деревенской бабы превратиться в царевну, в русскую морозно-серебряную боярышню, выпрыгнуть, словно по волшебству, из своего нищего тела в роскошные телеса Семирамиды, Елены, Клеопатры; нет, идея обещала не только такие метаморфозы, но предоставляла вам возможность переменить пол; и, разглядывая ещё влажную фотографию, вы с тайным волнением созерцали себя в облике мужчины, оставаясь женщиной или ласкали глазами мужчины свои женские формы. И вы начинали догадываться, что в самом деле должны были родиться в другие времена, в другом состоянии и другом естестве; может быть, так оно и было, такими вы были в некоторой высшей реальности. Изобретение возвращало вам ваше истинное «я» взамен ложного и навязанного вам. И не об этом ли, кстати, поведал публике в трогательных стихах великомученик и победоносец, святой Георгий из Каппадокии, рассказав, как он «снялся на память»; это и был истинный облик змеборца, его исконное «я», между тем как народ пригородных поездов, лишённый воображения, принимал его за обычного попрошайку. Помнится, поэт предлагал Лёве творческое сотрудничество. Неизвестно, довелось ли нашему другу воспользоваться этим предложением, но можно предположить, что встреча с Георгием подсказала ему проект разъездной артели.

«Но я вас перебил, – сказал Бабков. – Вы хотели рассказать о вашей работе...»

«Вот мы сейчас и послушаем, – сказал Кораблёв, вваливаясь в сарай с бутылками и снедью. – Мамаша провалилась куда-то. Пришлось самому бегать... Ну-ка ты... помогай».

«Ну уж разве что... – забормотал Паша. – По такому случаю... Только я предупреждаю: я непьющий».

«Давай, давай. Непьющий... Все мы непьющие. С чего это ты непьющий?»

«Мне моя специальность не позволяет».

«А говорят, наоборот, алкоголь способствует. Тут у тебя и сесть негде, – заметил Кораблёв. – Как ты баб-то своих принимаешь?»

«Можешь меня не учить. Как принимаю, так и принимаю; зачем им сидеть».

«Давай-ка лучше помогай. Берись...» Стол был придвинут к матрацному ложу, розовое одеяло откинута.

«Это кто ж тебе такое одеяло подарил? – спросил Муня Кораблёв, разливая по рюмкам. – Только плохо они за тобой смотрят... вон, совсем истрепалось. Ну, давай, что ли, со свиданьем».

«У меня специальность особая, хотите, могу рассказать. Я секрета не делаю. Ты меня спроси, я отвечу, – говорил, жуя, Павел Игнатьевич. – У меня особенное устройство, как бы это сказать».

«Что, длинней обычного, что ли?» – хохотнул Муня.

Лев Бабков погрузился в раздумье, рассеянно подставлял Муне пустеющую рюмку, фиал забвения. Рюмки были разные, как люди: вместительная, из толстого народного стекла у хозяина, высокий, на тонкой ножке, надменного фасо-

на бокал у Бабкова, а у друга Кораблёва вместо рюмки надтреснутый стакан. Равно как и выпивание выпиванию рознь, размышлял Лев Бабков, одно дело патриотическая, братская, соборная пьянка, другое – подстрекательское, с подрывными целями потчеванье вином доверчиво-распахнутого, как сама душа России, собутыльника. И уж совсем другой коленкор – случайное застолье неприкаянных, без цели и смысла скитающихся по осиротелой земле пропойц.

«Может, и длинней, да не в этом дело, – возразил серьёзно, даже меланхолично хозяин сарая. – Я так скажу, – продолжал он, – я человек прямой. Ежли вы надо мной смеяться пришли, то я вам не товарищ. Дело совсем не смешное. И не надо из меня этакое-такое делать. Я к своей профессии отношусь серьёзно, и меня за это ценят. Особенно женщины, потому женщина к этому делу тоже относится серьёзно. Попрошу меня уважать, – сказал Паша, – вот так».

Кораблёв развёл руками.

«Товарищ дорогой... да кто ж над тобой смеётся. Наоборот, тебе позавидовать можно».

«Завидовать тоже особо нечему, – грустно сказал Паша, – чего уж тут завидовать. Ни семьи, ни...»

На некоторое время воцарилось молчание.

«Ничего себе колбаска, – промолвил хозяин, – где это ты достал... У нас такой нет».

«Всё надо умеючи: для кого есть, для кого нет. Ты, Паша, не тяни резину, начал, так уж продолжай. Мы тебе тоже кое-что расскажем».

«Мне Лев Казимирыч уже говорил...»

«Что он тебе говорил? Ты что ему сказал? – всполошился Кораблёв. – Ты ему идею раскрыл?»

Лев Бабков ответил, что пока ещё нет.

«Мы от тебя, Паша, скрывать не собираемся, только надо сначала договориться. Ты можешь здесь оставаться, то есть я хочу сказать, ночевать тут. А днём мы будем работать. Ты нам будешь поставлять клиентуру. Идея, надо сказать, богатейшая; войдёшь с нами в долю... Ну, короче, десять процентов дохода твои. Человек ты, как я понял, авторитетный, женщины тебя знают. А женщина – наш главный клиент. Верно я говорю, Лёва?»

«Меня заинтересовали ваши слова, – проговорил Бабков. – Вы сказали: дело не только в анатомии...»

«Чего?» – проснулся Паша, которому загадочные слова Кораблёва начали навевать какие-то смутные сладостные сны.

«Я говорю...»

«А ты слушай, что я скажу, – окрепшим голосом заговорил хозяин сарая. – Слушай, а потом будешь говорить... Женщине нужна ласка. А не то что... То есть тоже нужно; без этого как же. Но прежде ласка, обхождение. Ты за моей мыслью следишь?»

«Я весь внимание», – отозвался Бабков.

«У нас как? У нас народ грубый. Жестокая у нас страна, вот что я тебе скажу. У нас мужик придёт домой пьяный, ну ты, давай ложись! Нет чтобы по-хороше-

му. Да она ещё рада, другие вовсе без мужиков. Сначала на войне побили, а потом, кто был, разбежались. А я, – сказал Паша, – женщин люблю».

«Всех?» – спросил Кораблёв.

«Всех люблю. А кого не люблю, всё равно жалею. Ты не думай, – продолжал он, – что я тут пашу ради денег. Да и какие там деньги... Которая принесёт, а у которой вовсе ничего нет; она пожрать тащит. Знает, что не откажу. Потому я женщин уважаю. Я в женщине человека вижу. И вообще считаю, что бабы важнее мужиков. Опять же взять Россию: кабы не бабы, давно бы всё провалилось к едрёной матери. И помнись никто бы не помнил, что за Россия такая была. На бабах всё держится. И вообще... – Паша сладко зажмурился. – Женщина, я тебе скажу, это самое... Женщина, она лучше скроена, чем мужик. И в Библии сказано...»

«А ты разве Библию читал, Паша?»

«Читал – не читал, а знаю. Там как сказано? Сначала Бог сотворил Адама. Ну и ясное дело – первый блин комом. А уж потом учёл все ошибки и создал Еву».

«Выпьем, Паша».

«Ты пей. Я воздержусь».

«Чего ж так. Обижаешь!»

«Мне врачи запретили. Мне один врач так и сказал: пить будешь, мужскую силу потеряешь; а я ещё молодой. Это всё равно как у спортсменов. Ладно уж, ради такого случая. Исключительно из уважения».

«На-ка вот закуси».

«А это чего?»

«Ты попробуй, а потом скажешь».

«Ничего, – сказал Паша. – Приемлемо. Есть можно. Где это люди достают...»

«Ты вот своим бабам закажи. А то они у тебя мышей не ловят...»

«Я что хотел сказать. Мужики, они на обезьян похожи. Ручищи, волосё... И в Библии сказано: человек произошёл от обезьяны».

«А вот это ты врёшь, – возразил Кораблёв. – В Библии не говорится. Вот мы сейчас Льва Казимирыгча спросим».

Но Лев Казимирович в свою очередь успел к этому времени переселиться из царства философии в гостеприимное царство сна.

Сор жизни

Стрекочущий звук, похожий на пулемётную очередь, тревожит идиллический сон деревни, двурогий зверь опорожняет перегруженный газом кишечник. Человек в шлеме и сапогах слез с мотоцикла. Перед домом мамыши на двух жердях был укреплен фанерный щит с нарисованной стрелой, указующей в сторону сарая. Мотоциклист уставился на вывеску. «Росгособлпромкооперация», – с усилием прочёл он длинный заголовок, как бы спускаясь по ведом-

ственным ступеням, и далее: «Артель фоторабот». Перечислялись и работы, выполняемые по особому заказу, как, например, «портрет в стиле ампир», «художественно-исторический», «три богатыря», «древнегреческая богиня в хитоне и без» и другие.

«Тэ-эк-с, – вымолвил милиционер, дочитав до конца. – А куда ж Пашку-то дели?»

Вокруг никого не оказалось. Сморщенное мамино личико мелькнуло в окошке из-за цветов и закатилось. Милиционер вступил в сарай.

«Стало быть, так, – сказал он, оглядывая интерьер, – попрошу присутствующих предъявить документы».

«Товарищ старший сержант... какая приятная неожиданность!» – запел было Муня Кораблёв.

«Ваши документы», – повторил старший сержант, передвигая на плече планшетку.

«Какие документы?» – удивился Кораблёв.

«Обыкновенные. А, и ты здесь... жив курилка».

«Так ведь сами знаете, Павел Лукич...» – сказал Паша, поднимаясь из-за стола.

«Я тебе не Павел Лукич. Мы с тобой свиней не пасли... Тебе сколько раз было сказано. Работать надо! А не тунеядствовать. За тунеядство у нас знаешь что бывает?»

«Вы с ним, оказывается, тёзки, товарищ старший сержант», – сказал радостно Кораблёв.

«Гусь свинье не товарищ», – отрезал милиционер.

«Я работаю... вот с ними», – упавшим голосом сказал Паша и обвёл рукой своё бывшее жилище. Ателье рос, гос и так далее кооперации было перегороджено ситцевым пестрядинным занавесом на две половины, над рабочим столом висел стенд с образцами фоторабот, стояла газовая плита, кое-что из Пашиной утвари, а за ситцевой занавеской... – «ну-ка что там у вас», – скомандовал старший сержант.

Открылся помост, на помосте рама, электрическая подсветка на рейках с боков и сверху, арматура неясного назначения, «чего ж тут особенного, вот и всё», сказал Муня Кораблёв и добавил что-то насчёт патента, но старший сержант не дослушал, спрыгнул с помоста, подошёл к столу и углубился в разглядывание стенда. «А ты, стало быть, у них, – отнёсся он к Паше, – вроде кассира или как?»

«Вы садитесь, Павел Лукич... говорят, в ногах правды нет», – проворковал Кораблёв.

«Сесть-то я сяду... Картиночки у вас, н-да... ничего себе. И что же, есть желающие?»

«Древнегреческая богиня в хитоне. Мы, Павел Лукич...»

«Да какой я тебе Павел Лукич».

«Мы, товарищ старший сержант, не просто снимаем, мы несём свет в массы. Знакомим людей с искусством, с деятелями отечественной и мировой истории».

«Вижу, что знакомите. Так как же, документов нет, разрешения нет. Будем протокол составлять или как?»

«Патент», – сказал Кораблёв.

«Это чего такое?»

«Патент на право заниматься...»

«А это мы не знаем, какое такое у вас право...»

«Вот мои документы», – сказал Лев Бабков.

«А ты кто такой будешь?»

«Попрошу прежде всего не тыкать, – сказал Лев Бабков. – Я кандидат исторических наук. Директор и научный руководитель ателье».

«Угм. А как насчёт разрешения?»

«Разрешение есть, товарищ сержант...» – вмешался Кораблёв.

«Старший», – поправил сержант.

«Разрешение выписано, – сказал Бабков, – и находится на подписи у председателя облисполкома товарища Потрошкова. Можно позвонить в секретариат, хоть сейчас... и, кстати... как ваша фамилия?»

«Порядок есть порядок», – заметил милиционер

«Это вы правы. Но пожалуй, я всё-таки свяжусь с Потрошковым».

«Ладно. Я вам верю», – сказал старший сержант, приосанившись.

«А может, всё-таки... И у вас совесть будет чиста».

«Не стоит».

Муня всполошился.

«Да что ж мы все стоим-то – в ногах правды... Паша! Как бы нам, это самое, насчёт...»

«Это, конечно, дело важное, отрицать не буду, – продолжал старший сержант. – Народ у нас тёмный, тем более, одни женщины».

«Современная фотография – это прежде всего искусство, – сказал Лев Бабков. – И перед нами, фотохудожниками, стоит важнейшая задача. Достоинно отобразить нашего человека, труженика полей, отобразить его во весь рост, во всём величии его исторического подвига, не с позиций мелкой правды факта, а с позиций социалистического реализма».

«Не могу, – строго сказал старший сержант, – я при исполнении служебных обязанностей».

«Чем богаты, тем и рады», – возразил Кораблёв. Колченогий стол был накрыт скатертью, питьё и закуска стояли наготове.

«А вот что я хотел спросить. Есть, что называется, желающие? Или как там?»

«У нас финансовый план. Само собой, отчётность, всё как полагается. Заказов много... Сами говорите – женщины. А женщины любят фотографироваться, причём, знаете, в разных костюмах. Хотя некоторые и без костюма».

«Греческие богини, что ль?»

«Античное искусство завещало нам культ здорового человеческого тела. Древние греки смотрели на это иначе».

«Древние греки? Ну, это другое дело. А нельзя ли... Ладно, раз уж такое дело... – сказал старший сержант, снимая фуражку. – Но только по одной. Я за рулём».

«Конечно, не поймите нас так, что они тут нагишом... На панно изображена Афродита. Достаточно просто вставить лицо в отверстие».

«Так вот, я говорю, это самое, нельзя ли...?»

«Ознакомиться?»

Милиционер крикнул, закусил бутербродом с городской колбасой и важно кивнул.

«Паша, – сказал Бабков бархатным баритоном. – Где там у нас альбом?..»

«Н-да, – размышлял милиционер. – Мне, что ль, попробовать...»

«Прекрасная мысль. Паша!...»

«Вот только не знаю. В форме вроде бы неудобно».

«Форма не мешает. Я бы рекомендовал вот этот вариант...»

«Н-да... а сколько это будет стоить?»

«Что вы, Павел Лукич, – вмешался Муня. – Обижаете. Никаких денег, вы наш почётный клиент».

Паше было отдано распоряжение включить подсветку. Старший сержант, поддерживаемый Муней, поднялся на помост с рамой и фанерным щитом, на котором представлен был герой гражданской войны на боевом коне, в бурке и папахе. Из круглого окошка под папахой выставилось порозовевшее от выпивки и волнения лицо старшего сержанта. Кораблёв прыгнул с помоста и занял пост перед камерой на треноге.

Лев Бабков отступил на шаг и прищурился.

«Нет», – сказал он.

«Что – нет?» – спросило лицо в фанерной дыре.

«Нет необходимой экспрессии. Образ внутренне неубедителен. Я вижу вас в другой перспективе... Паша, – сказал Лев Бабков. – Давай-ка лучше... Или, может, Павел Лукич сам выберет».

«Вы уж сами решайте. Я вам доверяю».

«Вариант Ричард Львиное Сердце, – сказал Бабков. – Мне кажется, самый подходящий типаж».

«А это кто же это такой?»

«Это был такой король».

«Король?» – спросил недоверчиво старший сержант. Паша выволок щит. «Мать честная!» – присвистнул старший сержант. «Ну как вам?»

«Ну как?» – в свою очередь спросил из дыры старший сержант. «Никто из нас, – изрёк Лев Бабков, – не знает, кто он на самом деле...» «Чуть не забыл, – сказал старший сержант, сидя в седле мотоцикла. – Там вас одна барышня дожидается. Дочка, говорит». «Моя дочка?» – переспросил Бабков. «А чья же».

Фабула жизни

Некоторые особенности нашего рассказа, возможно, вызовут раздражение у читателя, привыкшего к тому, что роман, как шахматная партия, разыгрывается по определённым правилам. Подобно игре в шахматы, литература основана на некоторой абсолютной системе ценностей, и совершенно так же, как, начав партию, нельзя менять правила, так нельзя лишать повествование его стержня, на который, как дичь на вертел, насажены действующие лица. Коротко говоря, композиция романа – это и есть его мораль; а какая же может быть мораль в рассказе о человеке, которого даже нельзя осудить за то, что он утратил представление о ценностях: он их не отверг, он никогда на них не покушался; у него их просто нет. Он ни к чему не стремится, ничего не добивается, у него нет цели. Поистине такой человек подобен игроку, которому невозможно поставить мат. Он преспокойно продолжает игру. Его жизнь лишена фабулы. Но так же и его окружение. Поистине страна, в которой он живёт, совершила великое историческое открытие. Ибо она доказала, что можно существовать вовсе без ценностей и продолжать игру после того, как у тебя съели короля. Съели – и хрен с ним; нельзя же в конце концов всему народу покончить жизнь самоубийством.

Чтобы сделать яснее нашу мысль, скажем совсем кратко, что «ценностей незыблемая скала», по красивому выражению поэта, есть нечто равно присущее шахматной игре, повествовательному искусству и человеческой жизни. Точнее, то, что должно быть им присуще. Вот в чём соль – в этой вере, будто играть надо по правилам. Хорошо построенный роман выражал уверенность автора в том, что мир покоится на незыблемых устоях морали. Между тем оказалось, что абсолютную мораль можно заменить ситуационной; что правила можно менять как вздумается. Продолжая сравнение литературы с шахматами, отважимся спросить: не в этом ли скрыта разгадка того, почему романисты в нашем отечестве так и не научились сюжетосложению, не научились уважать сюжет (автор данного произведения – прекрасный пример), и не в этом ли заключается ответ на вопрос, почему история под пером романистов в стране, которой Игрок поставил мат, разлезается, как гнилая ткань. С исчезновением ценностей роман, словно шахматы без цели поставить противнику мат, попросту теряет смысл. Его герой случайно, точно занесённый каким-то ветром, появился на этих страницах и, должно быть, так же случайно исчезнет.

Был ли он патриотом? Вопрос задан не совсем кстати. И всё-таки: заслужил ли он это почётное звание? Другими словами: какую пользу могли принести своей стране люди, подобные Льву Бабкову, какой толк от этих людей? На первый взгляд, никакого.

Этот человек был уверен: великое открытие, совершённое Россией в нашем столетии, есть в самом деле великое открытие: игра проиграна, но играть можно. Да, можно играть и дальше, хотя какая же это игра – без короля? Человек,

который так думает, какой он, к чёрту, патриот. Патриот не верит в действительность, а верит в свою страну.

А с другой стороны, мы решаемся утверждать, что герой этих страниц был нечто большее, чем патриот. Такие люди, как он, вообще избегают говорить о патриотизме – по той простой причине, что понятия любви или ненависти, верности или презрения теряют смысл, когда имеешь в виду самого себя. Разумеется, можно и презирать себя, и быть влюблённым в себя без памяти, но это совсем не то, что любить или презирать другого; и уж во всяком смысле невозможно быть патриотом самого себя; между тем как Бабков имел веские основания сказать о себе, переиначив слова короля-Солнца: *le pays, c'est moi!* Да, дорогие соотечественники, никуда не денешься, Россия – это и есть Лев Бабков; возможно, он возразил бы, скромность не позволила бы ему так себя аттестовать, придётся сделать это за него.

Идея, заслуживающая рассмотрения

«Ты как сюда попала?»

Молчание. Она уставилась в пол.

«Откуда ты знаешь, что я здесь?»

«Это правда?» – спросил старший сержант.

«Что правда?»

«Это правда – что она говорит?»

«Что ты ему сказала?» – спросил Лев Бабков.

«Она говорит, что она твоя дочь».

«Ах да, – сказал Бабков. – Ну, конечно. Вечная история, опять от тётки сбегала».

«Чего ж мне с вами делать. Протокол, что ли, будем составлять. Ладно, забирай её, на хрена она нам тут сдалась».

«Куда я её заберу. Мне в ателье надо возвращаться, коллеги ждут».

«Ну и бери её с собой».

Разговор происходил в детской комнате районного отделения, больше напоминавшей тюремную камеру. Окно забрано решёткой. Железная койка привинчена к полу, дверь снабжена оптическим приспособлением, которое в классические времена именовалось волчком, а в наши дни называется глазком. В комнате находился стол, весь исцарапанный, покрытый следами канцелярского труда, за столом восседал, заложив сапог за сапог, старший сержант Павел Лукич.

Луша сидела на кровати, составив коленки в дырявых чулках, на ногах – разбитые ботинки.

Она подняла голову.

«Врёт он – никакая я ему не дочь».

«Позволь, позволь. Ты же сама сказала».

«Мало ли что сказала... это я чтобы его найти. И призвать к ответу».

«Что-то я не понимаю», – сказал Павел Лукич.

«Чего ж тут понимать, – сказала она. – Он меня изнасиловал. Я в Москву приехала. Он меня на вокзале увидел, заманил к себе, а теперь от меня скрывается. Я от него беременна».

«Всё по порядку, – сказал Павел Лукич. – Значит, ты не отрицаешь, что эта барышня твоя дочь?»

«Такая же, как твоя».

«Позволь... а чья же?»

«Чья-нибудь, – сказал Бабков. – Я её знать не знаю. Вяжется ко мне, а зачем, сама не знает. Всё, что она рассказывает, враньё. Она и мне наврала с три короба. Сама не знает, чего она хочет; теперь вот зачем-то сюда припёрлась».

«Ты не знаешь, она не знает. Кто же знает?»

«Я требую, – сказала девочка, – экспертизы».

«Какой ещё экспертизы?»

«Медицинской».

«Чего ты болтаешь, зачем тебе экспертиза?»

«Чтобы подтвердить, что он меня изнасиловал. Он меня заманил. Я на вокзале сидела, а он подходит и таким развратным тоном, чего, мол, ты тут сидишь? А я говорю...»

«Ты постой, ты по порядку. Когда это было?»

«Когда было – после экзаменов. Я приехала, сижу, жду, что меня брат встретит».

«Это в каком же месяце?.. Так, – сказал старший сержант, – в мае, стало быть. А сейчас у нас август. Какая же может быть экспертиза?»

«А следы спермы? – возразила она. – Следы остаются».

Милиционер сдвинул фуражку на лоб и энергично почесал в затылке.

«Следы, говоришь. Ты, я смотрю, учёная. Вот что, дорогая: подымайся».

Она не двигалась, болтала ногами.

«Встать!» – гаркнул старший сержант.

Девочка вскочила с кровати и вытянулась в струнку, как игрушечный солдат.

«И чтоб твоего духу здесь больше не было Где твои манатки? Нет манаток? И ты... и вы тоже», – бросил он Лёве.

«Луша», – сказал Бабков. Несколько времени спустя они добрались до вокзала, это была та самая станция, где карандаш императора наткнулся на выбоинку в линейке. Перешли по трапу на противоположную платформу и уселись в пустом, замусоренном зале ожидания.

«Где ты была всё это время? В Киржаче?»

«Может, и в Киржаче», – отвечала девочка. Она разгуливала по залу, пела песни, мурлыкала, прыгала на одной ноге, поддевая носком что-то.

«Какое-то наваждение, помешались вы все, что ли... У меня есть одна знакомая, она рассказывает о том, как её изнасиловал отчим. Ты мне тоже плела что-то про твоего дядю... как он, кстати, поживает?»

«А что, неправда, что ли?»

«Что неправда?»

«Что ты меня – это самое». Она разбежалась и ударила по крышке от банки, как футболист по мячу. Лев Бабков спасовал крышку в угол. Вдали шёл поезд. На платформе ожидали пассажиры, их было немного: женщины в сапогах, в платках и плюшевых кофтах, схватив за руку оробевших детей, парень в солдатской шинели без хлястика, похожий на сказителя. Все торопливо полезли в вагоны. Девочка бросилась на пустую скамью у окна.

«Тебе что, – спросил Бабков, садясь напротив, – этого так хочется?»

Она вонзилась в него птичьими глазами без блеска.

«Я спрашиваю, тебе непременно хочется, чтобы тебя кто-нибудь – как это называется – употребил? Дело этим кончится. Найдётся кто-нибудь. Может, это уже и произошло? Что ты делала всё это время?»

«Ты не увиливай. Забыл, что на даче было?»

«Лапочка. Это тебе приснилось».

«Сначала девушку соблазняют, а потом говорят: приснилось! – сказала она сварливо. – Кому приснилось, а кому... Вот возьму, и...»

«Что – и?»

«Вот возьму и остановлю поезд».

«Не выйдет. Мы эти номера знаем. Второй раз не пройдёт».

«Вот сейчас закричу, чтоб все слышали. Вот сейчас пойду и буду милостыню просить, скажу, мне на аборт надо».

«А я, – сказал Лев Бабков, – выкину тебя сейчас из вагона. Слушай, Лукерья, – проговорил он после некоторого молчания, глядя на без усталости болтающиеся тонкие ноги девочки в рваных чулках, на её руки с грязными ногтями. – Нам ещё ехать долго. Надо сообразить. Куда нам с тобой деваться?»

«Куда хочешь, туда и девайся», – сказала она.

«Чем ты занималась это время? Воровала?»

Она передёрнула плечами.

«А может, действительно побиралась?»

В ответ Луша запела тонким визгливым голосом:

«А поутру они проснулись! Кругом помятая трава!» В самом деле, подумал он, почему бы и нет?

Конец – или ещё не конец?

Пруст говорит, что смерть не одна для всех, но сколько людей, столько же и смертей; мысль, достойная обсуждения, в которое мы, однако, не станем вдаваться. До сих пор наш рассказ был основан на более или менее достоверных известиях, теперь отстает только гадать, остаётся область гипотез: представим себе, какой смертью мог умереть Лев Бабков. В том, что он умер, не остаётся сомнений; во всяком случае, исчез бесследно, а другими сведениями автор этих заметок не располагает. Само собой разумеется, смерть была случайной, – если

он в самом деле умер, – случайной в том смысле, что она не могла быть логическим итогом биографии человека, у которого нет биографии. Смерть – логический итог? О воине, которому шальная пуля угодила в сердце, не говорят, что он умер случайной смертью; в то же время человек, упавший на пороге своего дома, считается умершим случайно, несмотря на то, что тромбоз венечных артерий сердца был логическим следствием длительного, хотя и незаметного, процесса.

Смерть могла настичь нашего друга, когда он перебежал через трап, чтобы успеть нырнуть в электричку, поскользнулся и был раздавлен идущим навстречу товарным составом; примем это за одну из возможностей, хотя Лёве, как всегда, некуда было торопиться. Смерть караулила в подъезде старого дома возле фабрики «Большевичка», внизу, когда Лев Бабков выходил под руку с бывшей подружкой сказителя, о которой мы ничего не знаем, кроме её имени, – смерть выглядела непрезентабельно, на голове имела кепчонку, на ногах стоптанные прохоря и в первую минуту повела себя крайне скромно, попросив разрешения прикурить, потом спросила, сколько сейчас времени, потом попросила займы ручные часы; слово за слово, и кончилось тем, что, к своему удивлению (в таких случаях всегда испытываешь удивление), он обнаружил, что лежит на полу, прижимая к животу окровавленные ладони, спутница улетучилась, сам же он, привязанный к каталке, мотался и подскакивал в машине Скорой помощи, или ему снилось, что он лежит на каталке, потому что к тому времени, когда автомобиль с красными крестами, с тщетно воющей сиреной застрял окончательно в пробке при выезде на Садовую, Лев Бабков уже не существовал.

Смерть могла случиться при совершенно экстраординарных обстоятельствах, и на сей раз мы могли бы её опознать, на ней было школьное платице и чулки с дырками. Опознать могла бы и баба-сторожиха. Против ожидания, грузная сторожиха в валенках, которые она не снимала со времени победного окончания Отечественной войны, оказалась на своём посту, но в конце концов пустила их, вероятно, небезвозмездно, и кое-что произошло в одной из опустошённых комнат старой дачи, именно, в той, где стояло разбитое пианино, о чём следователь мог судить по невнятному рассказу сторожихи, слышавшей музыку, а судебно-медицинский эксперт – по лиловым пятнам и следам ногтей на шее трупа, лежавшего на полу, лицом вниз: очевидно, – и скорее всего это случилось сразу же после кульминации, в тот единственный короткий момент, когда два существа перестают чувствовать себя отдельными существами, в тот последний момент, о котором девочка-смерть грезилась чуть ли не с детсадовского возраста, – очевидно, она поступила так, как в мире насекомых поступают самки некоторых видов, уничтожая партнёра после копуляции, и, выбравшись из-под обмякшего тела, неслышно выскользнула через заднее крыльцо.

Дом (2)

Близится вечер, похожий на вечер жизни, недалёк и конец эпохи, а если вернуться к будням – наступает конец рабочего дня. Осенью об эту пору начинает темнеть. Компания, с сетками и кошёлками, запасом еды и питья, высадились на глухом полустанке. Место не столь далёкое, в пределах пригородного сообщения, но почти необитаемое, у которого нет даже названия – «пост номер такой-то», «платформа такой-то километр», что-нибудь в этом роде. Мокрые и иззябшие, добрались до обители призраков. «Ба, – да вас тут целый шалман». Это вышла навстречу сторожика.

Не шалман, а приличное общество, или, лучше сказать, все знакомые лица.

Попытка прикинуть, сколько может выручить за день человек, путешествующий по вагонам, в лучшем случае может дать лишь весьма приблизительные результаты: слишком много разнообразных факторов влияют на заработок. Существуют люди, рождённые собирать подаяние; артисты своего дела, которых не надо учить, как подать себя, как одеться, хорошо знакомые с конъюнктурой, с современной модой, не скованные рутинной, не эксплуатирующие заезженных ролей, но и не эпатирующие публику слишком смелым репертуаром, следуя наказу Вольтера: быть новым, но не быть экстравагантным. Нищенство есть в такой же мере искусство, как и ремесло; подобно искусству, оно сочетает новаторство с традицией. Подобно всякому ремеслу, оно знает профессиональную конкуренцию и цеховое братство.

Сторожика, по имени тётя Стёпа, встретила нашего друга, как правитель острова встречает представителя короны. Обнялись и расцеловались. Лев Бабков рекомендуящим жестом указал на спутников. Сторожика была пожилая дама, казавшаяся очень дородной в древней шубе, двух платках и циклопических валенках с галошами. Наскучив ковыряться длинным ржавым ключом, она вручила ключ Лёве, которому не понадобилось больших усилий, чтобы сорвать замок вместе с петлями. Общество вступило в дом.

Вопрос о том, кому принадлежала заброшенная дача, следует отложить в сторону, отчасти потому, что в этой повести мы всё ещё не расстались с исторической эпохой, когда собственность представляла собой нечто предосудительное, полузаконное и, в сущности, недоказуемое. Собственность – это кража! – возвестил некий утопист-мечтатель. Можно считать и так; в том смысле, что её всегда можно украсть. Во всяком случае, никто никогда не видел владельцев. Никто, не исключая привратницы, не был уверен в том, что они существуют. Дача могла служить примером общенародной собственности. Дача, как уже рассказывалось, была открыта Лёвой несколько месяцев тому назад, наподобие того, как мореплаватели открывали новые земли и называли их в память о святителе, чей день совпал с днём вступления на берег, в честь короля или адмирала. Дача по праву должна была называться именем Льва Бабкова.

Помни о том, что завтра

Призрачный свет теплится в окнах необитаемой дачи, словно в самом деле там заседает штаб привидений. В печке трещат дрова. На большом столе посреди комнаты, где некогда девочка Луша исполняла свой загадочный танец, под пятном на обоях, оставшимся от чьего-то портрета, и где теперь висит портрет-парсуна государя Дмитрия Иоанновича со скипетром и державой, в расшитой фэрязи, в бармах и в шапке Мономаха, удивительно похожий на Лёву, – на столе возвышается старинная, зелёного стекла керосиновая лампа, поблескивают бутылки, лилово-красный холм винегрета в оловянном тазу ослепляет величием, тарелки со снедью ласкают глаз. Вдумчивое кряканье, вдохновенное похлопыванье в ладоши, отрывочные междометия.

«М-да... Ну-ну. Недурственно... Ничего себе... Оно, как бы это сказать. Хорошо сидим. Н-ну-с...»

П о э т (со стаканом в руке). Дорогие граждане!

Шум, суета, кому-то не успели налить.

П о э т. Братья и сестры... Искусство принадлежит народу. Выпьем за наш народ. За наш чудесный, добрый, терпеливый народ, умеющий ценить истинную поэзию. За народ пригородных поездов, за то, чтобы он и впредь оставался таким же внимательным, таким же щедрым, чтобы и впредь подавал, как подавал нам сегодня!

К т о-т о (со стаканом). За женщин! За наших дорогих женщин, которые нам, того, дарят... За тебя, Клава. И ты, как тебя: Лукерья, что ль. Привыкай. Небось уже с кавалерами ходишь.

Л у ш а. Пошёл ты знаешь куда.

Д я д я-к о л л е к ц и о н е р (с вилкой, хищно оглядывая стол). Я, друзья мои... Я, может быть, человек посторонний, но позвольте и мне. На правах, так сказать, гостя. Я всегда относился, так сказать, с известным недоверием к сбору, если можно так выразиться, денежных средств в вагонах. Мы, люди старшего поколения, сохранили идеалы. Я, например, могу сказать о себе так. Впрочем, деньги тоже не помешают. А как бы это мне... вот там колбаска, кажется. Будьте добры, не службу, а в дружбу. Друзья мои... Сегодняшний день убедил меня в том, да, убедил, позвольте мне называть вещи своими именами, что это дело, я имею в виду, хе-хе... весьма и весьма доходный промысел. Позвольте выпить.

К т о-т о. И закусить! Закругляйся, папаша.

Х о р (половина стола). Оно, как бы это сказать, ничего. Пить можно.

Х о р (другая половина). Из дерева, говорят. Из нефти. На вкус вроде ничего. На вкус-то, может, и ничего, а мужскую силу отбивает – это точно.

К т о-т о. А это мы лучше наших девочек спросим. Им виднее... Тётя Стёпа, а ты чего не пьёшь?

С т о р о ж и х а (неожиданно похудевшая, помолодевшая, в кофте, благодарит, тыльной стороной ладони утирает уста, подтягивает концы белого платочка под подбородком).

С и г и з м у н д К о р а б л ё в. А я хочу поднять этот бокал за моего самого близкого друга Льва Казимирыча. Если бы не он, не видать мне ни института, ни хера.

П о э т. Чего ж ты тогда по вагонам ходишь.

М у н я. А ты не перебивай. Одно другому не мешает. Одно дело наука, а другое – хлеб насущный. Сам-то небось... И вообще: ишь ты какой нашёлся... Я что хотел сказать. Выпьем за наше великое время. За нашу великую... нет, лучше ты, Лёва, скажи.

Д я д я. В самом деле. Все ждут. Лёва! На тебя, можно сказать, народ смотрит. Несмотря на то, что между нами есть известные расхождения...

Х о р. На вкус вроде бы ничего. С пивом только не надо мешать.

К т о-т о. Какие могут быть расхождения. У нас никаких расхождений нет. А ты, Стёпа, чего не пьёшь.

Л е в Б а б к о в (после некоторого раздумья, не замечая, что его уже мало кто слушает). Насчёт института... да. По правде сказать, я уже забыл, когда там был в последний раз... Но, пожалуй, стоит об этом сказать несколько слов. Тут произносились разные тосты. Кораблёв хотел сказать о нашем времени. Я, знаете ли, всегда интересовался историей... Причём должен заметить, что это ведь не просто институт истории, это, к вашему сведению, институт усовершенствования истории, большая разница.

К л а в а. Ты не очень-то забывайся. Ну-ка отзынь.

К т о-т о. Ты моя мечта. Рядом с такой женщиной трудно сохранить равновесие. Позвольте вас... того. Нет, я просто не знаю. Какими словами передать...

К л а в а. Языком болтай, а рукам воли не давай.

Л е в Б а б к о в. И, мне кажется, я пришёл к некоторым результатам.

С. К о р а б л е в. Я всегда говорил: талант! Гений! Переворот в науке.

Д я д я. Интересно, хе-хе. Что же это за переворот. Там, кажется, что-то интересное: селёdochка или что это... будьте добры.

П р и з р а к Д и р е к т о р а (садясь за пианино). Такова природа великих открытий. Лишь после того, как они были сделаны, кажется, что они были очевидны. Эта лампа напоминает мне долгие бдения со свечой в камере Шлиссельбурга. (Исполняет Шествие гномов из сюиты Грига «Пер-Гюнт»).

Л е в Б а б к о в. Так вот, если вернуться к тосту моего коллеги... Ты говоришь, Муня, великая эпоха. Может быть. Все эпохи считали себя великими. Только вот в чём дело. Мои исследования показали... даже не столько исследования, сколько моя интуиция. Друзья! (Стучит вилок). Они меня не слышат. И к лучшему.

П р и з р а к (захлопывает крышку пианино). Я, я тебя слушаю. На следующем заседании президиума ты будешь рекомендован в члены-корреспонденты Академии наук.

С. К о р а б л е в. Кого я уже давно не вижу... Лёва! А где ж твоя... Вот, скажу вам, девочка. Одни титечки чего стоят.

Л е в Б а б к о в. Овен бодал к западу, и никакой зверь не мог устоять против него. Не было никакой эпохи.

Му н я. Чего?

Л е в Б а б к о в. Не было, говорю.

К т о-т о. Как это не было. А мы?

Д я д я. Он пьян.

С h o r u s m y s t i c u s. Всё преходящее есть лишь подобие.

Г р и г о р и й О т р е п ь е в (он же царь Димитрий Иоаннович; из портретной рамы). Могу подтвердить.

К т о-т о. Нет, это уже оскорбление. Как это так – не было?

Л е в Б а б к о в. А вот так. Через сто лет люди спросят: а что тогда происходило? И услышат в ответ – ничего не происходило. Потому что эта эпоха была изобретением пропагандистов. Совершенно так же, как классическая древность была изобретением средневековых монахов. На самом деле ничего не было. Нашей эпохи не существовало, понятно? И нас с тобой, Муня, всё равно что не было. (Пьёт). Ты думаешь, что вот он (показывает на Директора) привидение, в этом доме должны быть привидения. А на самом деле это мы все – привидения.

Д я д я. О ком это он говорит? Он не пьян, он свихнулся!

К л а в а. Лёвушка, ты бы отдохнул.

Л е в Б а б к о в. Э, о чём там говорить. (Выходит из-за стола и усаживается за пианино).

З а п е в а л а. Из-за острова на стрежень!

С м е ш а н н ы й х о р. На простор речной волны.

Л е в Б а б к о в. Луша. Ты бы нам станцевала, что ли...

Несколько времени спустя, – это выражение мы уже употребили, и в самом деле, можно ли обойтись без отсылок подобного рода в эпическом повествовании, которое как-никак основано на доверии к времени, на вере в его ничем не прерываемое течение, а значит, и на доверии к эпохе, – несколько времени спустя глазам стороннего наблюдателя могла бы предстать таинственная картина: ещё кто-то сидит в полутьме за столом, но уже тарелки сдвинуты в сторону, пение смолкло, народ разбрёлся по углам; бывшая подруга сказителя покоится в объятьях кого-то; иных сморил сон. Лампада – теперь она стоит на пианино – озаряет лицо музыканта тёплым, тусклым сиянием. Девочка Луша перешагнула со стула на стол. Несколько мгновений перед танцем она стоит, босая, в коротком платье, опустив тонкие руки.

Кто сказал, что наше время – выдумка? Вот оно, наше время.

1995

Finis